

**Владимир Леонович**



**Деревянная  
грамота**

*Владимир Леонович*



# Деревянная грамота

Москва  
2014

УДК 82.1      Леонович В.Н.  
ББК 84(2Рос)  
Л 47

На обложке: *Юрий Бекешев, «Клеонович»*  
Рисунки: *Алла Калмыкова*  
Макет: *Евгений Тихонов*  
Компьютерный набор: *Виктория Нерсесян*

**Леонович, Владимир.**

Л 47 Деревянная грамота. — ООО «Буки Веди», 2014. — 104 с.  
ISBN 978-5-4465-0472-5

«Мы смотрим на дерево — оно на нас». Вглядываясь в лики деревьев, сопровождавших поэта в земном странствии восемь десятков лет, автор постигает сам и учит своего читателя постигать «деревянную грамоту» — те азы заповеданного человеку миропорядка, которым так опрометчиво пренебрегает забредшая в тупик цивилизация.

Последняя книга поэта Владимира Леоновича (2.06.1933—9.07.2014), связанная, как плот, из стихотворений и прозаических заметок и полностью подготовленная автором к печати, — благодарное приношение городу Кологриву и его людям.

УДК 82.1      Леонович В.Н.  
ББК 84(2Рос)

ISBN 978-5-4465-0472-5

© В.Н. Леонович, 2014

*Милому городу Кологриву  
посвящается*





**ПЕРЕВЯЗЬ...** «Вяжи, началивай, плоти! Гладью вяжи, не рябью: плот вяжешь, не виник! Плотовязы, сплавшшыки, адуи вохомские...»

Отчего бы не повиснуть этому крику над излучиной Вохмы или Ветлуги, Унжи или Неи, где *брёвна давнего залама каменеют в берегу?* Пусть побудут, к тому же адуёв я у Даля не нашёл, а у московских филологов не искал. Подарю хоть словцо коллегам.

Пока я соображал эту статью, эту прозаическую вязь и крепь, должную то нырнуть в зазор между стихами, то появиться где надо, вспоминал Ирочку Роднянскую, её давнюю статью про меня: «Вязь и грань». Первое мне понятно больше, чем второе, понятнее и роднее. Славянская *вязь* — «род письма, где буквы связаны, переплетены или всунуты одна в другую...» (Даль). Эту вязь я очень ценил в ученических тетрадах отнюдь не первоклашек — моих девяти- и десятиклассников.

В пору зажима, когда не было гласности и вырезвители честно рапортовали в фотовитринах о своих достижениях — паноптикум битых морд, скрываемых лиц, голых и полуголых тел неясно какого пола и возраста, — витрина ВЯЗАЛА всех одним жгутом. Разные люди по-разному или глядели, или отворачивались, проходя мимо. Моя Муза прошла мимо, не поднимая глаз.

Родина! Благ твоих я не отрину,  
ни твоего откровенного срама.  
Но... Воротясь... разбивает витрину  
вдребезги — эта прекрасная дама.

И тут были грани стекла.

Ирочка работала у Твардовского, **НОВОМИРОВКОЙ** осталась и в новой редакции журнала. Большими буквами пишу это слово, этот ранг людей, верных направлению Великого журнала. Таким был Игорь Дедков, не только писавший слово **ПРОВИНЦИЯ** с большой буквы, но и возвысивший его смысл и беспримерно его обогативший. Пора издавать полного Дедкова. В соседстве с семитомником Василия Белова и трёхтомником Олега Куваева тома Игоря встанут как нельзя уместней. Может, и до Кологрива дойдут — это будет праздник, пока в городе, готовящемся стать селом, жив будет хоть один читатель. Тогда сельяне поставят ему памятник — последнему... Кто-то спросит: а какие книги были последними в формуляре этого чудака? Что? Поэзия? А что это такое? И зачем? Однако начнём.

\* \* \*

*Игору Дедкову*

Во все концы дорога далека,  
но в зрелые черты сумей взглядеться —  
и различишь прекрасного младенца.  
Сморгнёшь — и угадаешь старика.

И возраста у человека нет.  
Я это видел в ясные минуты  
посередине той тяжёлой смуты,  
что мы зовём вершиной наших лет.

Я возрасты мои в себе несу,  
и, как деревья в лиственном и хвойном  
ноябрьском или мартовском лесу,  
они толпятся в беспорядке стройном.

Первая книжка Дедкова так и называлась: «Во все концы  
дорога далека». И последняя начиналась со строчки

Долог русский долг.

Извините, и её я сочинял, не думая, что перевалю незакон-  
ный рубеж — 80 лет. Долог-то долог — было бы чем рассчи-  
таться. Был бы прок от убывающего срока. Однако нырнём.

## ВЕСНА В ГОРНОЙ ШОРИИ

Неясной волей, волей вышней  
замедлена, затруднена,  
едва заметно и неслышно  
здесь начинается весна.

Вздымает голубые сопки  
сплошная шорская тайга:  
там с февраля — ручьи на солнце,  
а по июль — в тени снега.

В апреле небо слишком близко:  
его цепляют за края  
пихты смолистой обелиски  
и терриконов острия.



И это не последний тормоз.  
Апрель блистает, словно термос, —  
попробую — блесну, сравню —  
тепло и холод сохраню.



По горизонту волноваты  
земли туманные края.  
Все понемногу виноваты —  
и сонная душа моя,

и это поле, и болото,  
и этот медленный апрель —  
вся паволока, позолота  
и световая канитель,

вся тварь — земная, водяная  
и дремлющая под корой...  
Я сплю — я ничего не знаю, —  
поговорите с ней — с весной...

\* \* \*

Через поле, через лес.  
Поднебесных и плакучих  
елей сумрачный навес —  
и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.  
Топкая глухая хвоя.  
Дебря Нижняя\* моя —  
всё наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист  
рукописи стародавней —  
озарён, глубок и мглист  
тёмный свод родных преданий.

И роднее всех святынь —  
невзначай в избе крестьянской —

---

\* Нижняя Дебря — улица в Костроме.

наша гордая латынь —  
кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу —  
позабуду без заботы.  
Хоть умру — а продышу,  
продышу — до той н е м ó т ы.



В 1983 году выпустил я в Москве книжку «Нижняя Дебря». До сих пор на этой улице, на Дебре, на пояске короткого подола к Волге, имена Нижней Дебри и Кооперации спорят на домовых табличках. Советская спорит с Русиной, Ленина — с Еленинской, только Свердлова гнушается спорить с Никольской — Александровской — Благовещенской, тем более — с Чрезвычайкой.

\* \* \*

Я рисовал нехитрую картинку.  
День вечерел, был холоден и сер.  
Старушку в чёрном, словно паутинку,  
пронёс осенний ветер через сквер —

нагую душу в лёгкой оболочке —  
и лишь оставил у меня в зрачках  
косые ножки, детские чулочки  
да туфельки на толстых каблуках.

И пронесло, и в сумерках — растёрло,  
размыло невысоко над землёй.

Шло время —

ровно,

скорбно

и просторно.

Листва взвивалась, обгоняя строй,

обратным колесом...

Мне не хватило  
для лёгкой той души прощальных слов —  
сорвало,  
обняло,  
поворотило  
и понесло в пролёт между стволов.

## О СЕМИ ЦЕРКВАХ

*Надежде Ивановне Катаевой*

Через дорогу дерево росло  
и делало проезд негабаритным.  
Когда-то взят был молодой ствол  
защитною железною оградкой,  
потом железо облегло кору  
и потонуло в деревянном теле,  
но выходило ржавчиной листы  
по осени лет сто. Потом поклоном  
земным то дерево прощалось с нами...  
Срубили дерево, и я с трудом  
то место нахожу. Стою, смотрю,  
и призрак дерева передо мной  
стоит и клонится, и сквозь него  
машины мчатся.

А наискосок  
с чугунными решётками на окнах  
в броне гранита виден как бы замок:  
он тоже призрак, ибо, как свеча,  
в нём церковка снесённая белеет.  
И Поварская о семи церквах  
лежит, одетая ещё в булыжник,  
вся ещё дышит. От Бориса-Глеба

свернём к Николушке-на-Курьей Ношке\*  
в Борисоглебский. Вот Маринин дом,  
где вечно новоселье, шум и гомон.  
— Как, девочка, тебя зовут? — Ирина  
Сергеевна. Теперь я не умру  
и призрачные годы не наступят...

## ГОРОХОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ

*Ивану Фёдоровичу Набережных,  
начальнику разведки артполка*

Я вижу в стереотрубу  
подпрыгнувшую гору.  
Военное табу  
велит мне, вору,  
забыть — что видел.  
В дымных окулярах  
висит гора.  
Оплавленного кремния огарок —  
вот где была жара...

Сейчас пустынны полигоны.  
Но в шелесте песка —  
живые голоса — их миллионы —  
слышны — до голоска.

Причастник мук нечеловечьих,  
в передовом окопе артразведчик,  
я помню телом содроганье  
земли.  
Мы стали ей врагами —  
убили и ушли.

---

\* На кривой меже.

И узнаваема едва  
запретка полигона:  
то бешено растёт трава,  
то пуст песок. Плакуча и поклонна,  
как быть бы ивушке, сосна:  
ветвей заломленная голизна —  
молитвы жест? Или обиды?  
Так на полярных берегах  
деревья стужею прибиты.  
О ком молитва — о врагах?

Бездонные озёра торфяные,  
что в обмороке испокон,  
из зарастающих окон  
глядят, как яблоки глазные.  
Врастают в древесину провода.  
Оборвана колочка оцепленья.  
И тишина — распада.  
И — *труда*  
*во искупенье...*



## НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ АРТПОЛКА

Майора красит первый лёгкий хмель.  
Майор смешлив, умён и в службе истов.  
— Сержант Арсеньев, где у нас шинель,  
украденная мною у танкистов?

(Подмигивает мне майоров глаз.)  
— Не знаю, тащцмайор! — и это правда:  
сержант не знает, где она у нас —  
она давно уж не у нас... Назавтра

заходит разговор издалека.

Софизмами Арсеньев озадачен.

— Арсеньев, я служил у Ковпака  
и не могу быть вами околпачен.

Но я могу предположить, кто вор,  
и предложить пари, что на неделе  
шинель найду... — Так говорит майор.  
Но, говорит он, дело не в шинели...

— Так точно!

— Я из питерских сирот.

В тридцатых многие осиротели...

Детдомовцы — особенный народ,  
но дело, повторяю, не в шинели.

— Так точно!

— Мы сиротская страна.

Мы — коммуналка и не красть бы рады...

И не шинель, Арсеньев, мне нужна —  
мне нужен маленький кусочек правды.

Вы — семеро — разведка артполка —  
интеллигенты в первом поколеньи.

Сержант, не лгите, служите пока  
в моём отдельно взятом отделенье.

Иван Фёдорович служил у Ковпака в его партизанской  
армии. Дотошный читатель найдёт имя капитана Набережных  
в книге Вершигоры «Люди с чистой совестью». Кто-нибудь  
найдёт имя курсанта Третьего Ленинградского артиллерийского  
училища И. Набережных в пору, когда 3-е ЛАУ располагалось  
в Костроме, за берёзовой рощей в верховьях Чёрной речки.  
Поищет и найдёт имя другого курсанта — А.И. Солженицына.  
Их командира капитана Кривого. Но никто вам не расскажет,  
что сухопарый рыжий еврей Кривой

крутил «солнышко» на перекладине и хаживал из расположения части на Пастуховскую улицу, 28 провожать тридцатилетнюю докторицу Ольгу в приталенной шубке с серым каракулевым воротничком. Помогал нести тяжёлую сумку таинственного содержания — кто не грешен? — а поскользнувшись на льду, эту сумку удерживал, обозначая её спасающее от голода значение для старой матери доктора, для сына доктора и родственников из Минска, спасавшихся в костромской эвакуации. Майор Ануров был начальником санчасти, Шурочка Любченко медсестрой... Никто не просит, но прибавляю эти имена к ВЕЛИКОЙ БЕЗЫМЯННОСТИ тыловых работников войны, к вероятному списку тех, кому стоит в Костроме памятник возле ДК «Текстильщик».

Некий престиж витал над ЛАУ, где учились генеральские сынки и вряд ли кто голодал. Это из госпиталя на Дебре нельзя было унести ни куска хлеба. Запишем это в книгу рекордов Гиннеса.

## ПЕЧАТЬ

Двенадцатый магазин, где прилавок  
лоснится от прибоя хлебных давок  
и лязгает в пазу лучковый нож.

Прилипло к пайке лишнего полдвеска.

— Назад положи! — горланит хлеборезка.

— Беги! — Держи его! — Оставь, не трожь...

В ногах толпы, в шатучем полумраке  
приземистые скользкие собаки,  
авоськи и мешки,  
безногие фронтовики,  
хрипатые, с распухшими зобами —

кто действует локтями, кто зубами —  
онучи, лапотки.

Что скажешь, лейтенантик руконогий,  
обрубок безнадежно одинокий,  
всё растерявший, даже самый страх,  
митинговавший возле винных стоек,  
покуда спал Господь и лгал историк,  
ты, в одночасье втоптанный во прах?

Что скажешь нынче? Поделись судьбою:  
в каком углу покончили с тобою,  
как скопом ликвидировали вас?  
Как заработал голубиный всас —  
изобретенье мысли санитарной, —  
живьем сосавший с площади базарной  
всю вашу стаю навсегда и враз?

И амба! *С добрым утром, милый город...*  
Но шарикоподшипниковый грохот  
не гложет над базарной мостовой,  
ещё смягчённой грязью и навозцем.  
Перед калекою-орденоносцем —  
мальчишка — я — на площади Сенной.

И он, навзрыд, внушает мне, как мерзко  
сверкать чулочками из фильдеперса  
и пьяные приказы отдавать,  
как все мы преданы бесповоротно,  
**И МЫСЛЬ ЕГО БУЛЫЖНА И ОГРОМНА,**  
и он, взмахнув толкушкой — в жись и в мать! —  
влепляет в грязь возмездия печать.

Голубиный всас — изобретение мысли не санитарной, но фашиствующей. Широкий раструб всасывает стайку, которой



брошена горсть пшена. Такого рода мысли — наш обиход. Есть люди, которым это не претит. Силовой «порядок вещей» их устраивает. Но поэт Владимир Корнилов, видя неравный бой боксёров, говорит о явно сильнейшем: он ПОЗОРНО побеждал. Атлетизм военных учений, игра всех мускулов убийственного комплекса позорны на фоне гражданской войны в соседней стране, где присутствует наш интерес. Увы, поильной коктейля Молотова смесь захватнического тайного импульса с громким призывом и действительным желанием помочь страдающим братьям. Коктейль Путина чреват бесконечным похмельем.

Другой поэт, Владимир Львов, воевавший, написавший о смертях, в нём угнездившихся, говорит о безногом фронтовике:

Комнаткой отдельной обладая,  
жил и жил он там своё пока —  
потому что стерва молодая  
на него взглянула свысока.

«Своё пока» было недолгим и закончилось в инвалидном лагере. И мой обрубок на деревянной платформочке угодил туда же. Допустим, это лагерь Байм, что в Минусинской котловине, допустим, он видит то, что увидела писательница Тамара Милютина ранним утром: человек двадцать идут как бы строем, но медленно, держась за длинное полотнище. Кто такие? Что за обряд? Смотрят в небо... — Это слепые танкисты...

\* \* \*

В последних числах февраля  
я спал в лесу.

Я спал, к сосне широкой привалясь.  
Её тяжёлый ход  
туда, наверх,

где ничего, где всё, где небо,  
кружил мне голову.

Кора, нагретая и цепкая, меня  
не отпускала.  
Под корой спала  
крылатая и кольчатая тварь.

Дышали сосны мягко — засыпал  
морозный влажный бор,  
пригретый нежным солнцем, —  
вы знаете, оно какое  
в последних числах февраля?

Я не закрыл глаза — ничто  
им не мешало.

И, если бы не дятел,  
мне севший на плечо  
и в ухо нацелившийся,

я бы не проснулся,  
неотличимый от коры сосновой,  
с улыбкой золотой — там, где лицо  
черты разгладило, где два сучка  
торчало вместо глаз.

\* \* \*

Всё я хочу написать  
стихотворенье без слов,  
стихотворенье-мотив,  
самой прекрасной ценой оплатив  
исчезновение слов.

Стихотворение-лес,  
где шелестенье древес,



стоит  
    безлюдный  
                    Остров Чести, —  
ты ревновал о таком.

Имён своих великолепье  
несовершенство бытия  
влачит, как золотые цепи.  
Вперёд, словесность, жизнь моя!

\* \* \*

Он сучок сбивал топориком,  
будто слизывал сучок.  
— Мне бы, дед, к Еловым Дворикам. —  
Затруднился старичок.

Комариный звон топорика  
с лезвия сошёл на нет.  
— До Елова, стало, Дворика? —  
Поглядел на сучья дед,

вытянул из груди скрюченный,  
мёртвый, севером измученный  
коленчатый сучок:  
— Вот он путь какой, милок.

Вот тропиночка, и вот она,  
по колену — поверни,  
по чернолеси намётана —  
ходил третьёва дни.

Вышел на свет — по болотине —  
оно и будет весть...  
По еловой моей родине,  
самой-самой, что ни есть.



\* \* \*

Тихо, важно  
всё в природе.  
Косточки Яшина  
болят к погоде.

Где-то тут наверняка  
положили встретиться.  
У Кичмень-городка  
деревенька така:  
Светица.

Посреди лесов-холмов  
деревенька — семь домов —  
пятнышко родимое  
одно неуследимое.

\* \* \*

Тот живописец образцовый  
имел единственную блажь  
и краскам предпочёл свинцовый  
подслеповатый карандаш.

Болея мыслью отвлечённой  
навлечь цвета на белый грунт,  
минуя цвет, — он принял труд,  
для колориста обречённый.

А солнце как? А небо? Море?  
На это всё сошла зима.  
Вот поле, кустик на угоре,  
простора серая кайма,

и лес вдали, и деревенька,  
оконце словно уголёк.

Вблизи светлей — вдали темненько,  
и через поле путь далёк.

Идёшь, идёшь... Из-за поката —  
труба, изба в конце концов.  
Оконце правда красновато,  
и только карандаш свинцов.



Свинец мне ещё пригодится, и не раз, а сейчас —  
**ПЕРЕВЯЗЬ...** Колхида.

\* \* \*

Кривое дерево реликтовых  
и ревматических пород  
из карликовых эвкалиптовых  
застряло посреди болот.

Чуть дышит травяное череве  
перегорающей земли.  
Терпения кривое дерево,  
расти-расти, боли-боли.

Пошли, творенье, силу сильную  
ему достойно дорасти —  
листами, корнем, древесиною  
молочной вяжущей кости.

Ошиблось не столетьем — эрою.  
При мне, живом, стоит и мрёт.  
— Сломи! Сдери мне шкуру серую! —  
не вытерпело и орёт.

— Терпи. Куда терпенье денется  
и кто усвоит подвиг твой —  
укоренится и оденется  
кривою серою корой?



В некоей прошлой эре был гигант — в этой стал карликом. Стоило ли выживать? Но древесина уподобилась камню и гнить отказывается — как наша лиственница, каменеющая в прибалтийских болотах и несущая на себе каменную красу городов. По северам — кедровый стланик, кустарниковый березняк... Кое-что получилось у Матери-природы, сработала генная инженерия — «на понижение». Быть может — временное? Человеческая природа срабатывает более наглядно и, бывает, почти мгновенно, катастрофически мгновенно. У Достоевского улучшение природы человека происходит успешно и с тем ускорением, о котором мечтал Горбачёв. И его «новое мышление» расставило нам приоритеты на десятки лет вперёд. А если назад заглянуть? Мышление Троцкого назвать новым не могу, но в честном его выражении отказать бывшему политическому кумиру нельзя. Если бы в Тамбове, в Свяжске высились бы ещё изваяния Иуды Искарота, упрекнуть апостолов новизны в лицемерии никто бы не смог. Но Некрасова кто-нибудь вспомнил бы:

Погодите, прогресс подвигается,  
И движенью не видно конца.  
Что постыдным сегодня считается,  
Удостоится завтра венца.

И удостоилось бы, и стоял бы Иуда, где бы захотел, но граждане Свяжска разметали камни будущего Иудина цоколя, едва только он наметился. Граждане... Где они?

\* \* \*

Была Гражданская война,  
и рассудительные люди  
воздвигли памятник Иуде —  
на все века и времена!  
Апостол каменно и тяжко  
восстал на площади Свияжска,  
являя миру без вранья  
печальный символ бытия:  
ПРЕДАЙ — ПРОДАЙ, и дело чисто...  
Великого экономиста  
снесла предательская власть.  
Безмерно Волга раздалась,  
и городишко островной  
совсем безвиден и безлюден, —  
лишь призрак — монумент Иудин  
здесь тяготеет надо мной,  
над Волгой, надо всей страной.

«Достраивать» памятники можно, как видно, на бумаге. Тем более — если они без вранья: предай — продай.

## РАЗДЕЛЯЯ ГРАНИТЫ

Наклонённые серые плиты.  
Оползание, разлом и разлад.  
Бук растёт, разделяя граниты,  
как писали лет двести назад.



Корень скручен и в камень завинчен.  
Подивились и дальше пошли.  
В этой местности корень первичен  
и вторична щепотка земли.



Сыт пригоршнею каменной крошки  
и летучей росой напоён  
стланник скрюченный — рожки да ножки.  
А свобода — во весь окоём!

Здесь не камнем, а небом единым  
заживём на последней черте —  
в яром ветре и в облаке дымном  
на летящей во мглу высоте!

## КИПАРИСЫ

Вижу я в рассудке здравом  
да и спяну не совру:  
так и ходят всем составом  
кипарисы на ветру.

Эта рать сторожевая  
всё теснее, всё живей  
ходит, пики воздевая,  
вкруг гостиницы моей.

Что вам надо, кипарисы —  
или голову мою?  
Перед хмурой директрисой  
вопросительно стою.

Снаряжён такой роскошный  
обходительный конвой —  
для нужды моей ничтожной,  
старой скуки путевой!





## ДВЕ МАТЕРИ

*Из грузинского фольклора*

В крови лежат тела  
охотника и тигра.  
Как тень к ним подошла  
седая кахетинка.

Потом спустилась с гор  
старуха мать-тигрица.  
Их слёзный разговор  
тысячелетья длится.

И озарён карниз,  
где всех родней и кровней  
два горя обнялись  
над гибелью сыновней.

Сюда Гомборский лес  
восходит неустанно  
и бьётся об отвес  
гранитов Дагестана.

И только ковыли  
да траурные маки  
на тот карниз взошли,  
где ни земли, ни влаги.

Отсюда с давних пор  
небесными слезами  
туманы сходят с гор  
к широкой Алазани.

На обсуждении фильма «Овсянки» у Гордона на Первом канале мне случилось это прочесть. Провожая меня, Саша

сказал: «Спасибо, ты спас эту говорильню». Однако бульдозер цензуры эти стихи счистил, и зрители кремлёвского канала их не услышали. Мне было стыдно за собственную довольную телерожу: сумел сказать, что хотел! На блатном языке это называется *подстава* и входит составной частью в понятие *подлости*.

Валентин Асмус:

— Борис Леонидович, каков, на Ваш взгляд, основной признак власти?

Пастернак:

— Подлость. (*Зоя Масленникова. Портрет поэта*)

Бульдозер подставил Гордона, Гордон — меня. Уважающие меня люди могли грустно недоумевать: чему радуется? Авторы «Овсянок», опираясь на фольклор народа меря, извлекли из этой древности нечто бесстыдное даже по меркам сегодняшнего дня. Надо было ответить тем, что извлёк я из грузинского фольклора. Вода у народа меря священна. Я приглашал участников «закрытого показа» сколотить плот в верховьях Унжи и спуститься к Волге: какую помойку скрывает священная вода...

## ГАЛАКТИОН

Красота не виновата  
в непомерности избытка.  
Вай, художник, что за попытка!  
Не гляди на цвет граната!  
Красота не виновата...  
Задохнулся —  
и на русский  
перевёл в слезах от счастья

вашу негу, ваши страсти —  
без усушки и утруски.  
Я глядел во глубь колодца  
и ещё не знаю ныне —  
может, веточка привьётся  
и родимой древесине...  
В полдень белый  
невозбранно  
вверх по улочке Кашена  
я взбираюсь от Майдана  
так нетвёрдо и душевно.  
Стороне — стою — на правой —  
и трезвею. И ни с места:  
черноглазое семейство,  
через крышу — ствол корявый.  
Через пол и через крышу.  
Как теснились, как нуждались,  
это я прекрасно вижу.  
Не срубили — догадались.  
Я душа — переселенец,  
помнящий края и сроки,  
вижу снова, как младенец  
обнимает ствол широкий.  
А пока стою на правой,  
на меня глядит как бука  
некто сотканный из звука,  
бородатый и лукавый:  
— Дерево земли прекрасной  
и дитя — благословенны!  
Несловесный, полногласный  
чистый трепет сокровенный.  
И — пошёл-побрёл слоновьей  
валкой поступью своею —  
за последнею любовью —  
за последнею — за нею!



\* \* \*

Вижу: давно идёте,  
в гору стволы крени.  
В вашем добром народе  
не хватает меня.

Лес наброшен на горы —  
плавной складки руно.  
Марево — вечный Город.  
В городе том — Окно.

Под Окном спозаранку  
тополь сходит с ума:  
вся листва наизнанку,  
без ветра, сама.

Каменные ступени,  
медленные облака.  
Здесь, на краю терпенья  
и постою пока.

\* \* \*

Ветреной ночью платан шелестит.  
Лёгкая бездна навстречу летит.

Набережная гонит и гнёт  
этот ночной, этот душный полёт.

Вот в мостовых простонало столбах,  
дух захватило, скрипит на зубах...

Мальчик растёт и смеётся во сне.  
Встань поутру, позабудь обо мне.

## ТЕМА

Всё тихо. На Кавказ идёт ночная мгла.

*Пушкин*

Слепа и сонна,  
магнолия цвела  
в объятьях лавра,  
как Дездемона  
в объятьях мавра —  
благоуханна и бела.

Фонарь последнего вагона  
ла—ла ла—ла...  
Над родиной Галактиона  
НОЧНАЯ МГЛА — лишь купола  
Кавказ возносит белоглаво.  
Ночная мгла, моя держава,  
КАК ТЫ МОГЛА, КАК ТЫ МОГЛА?  
Твои кровавые дела  
вовек не ведали предела.

Вскипела воля Сакартвело,  
от правой ярости бела!

Колокола... колокола...

Теперь она едва тепла,  
слаба и сонна,  
как раненая Дездемона.  
Ла-ла ла-ла  
ла-ла ла-ла

\* \* \*

Были цветы и колосья,  
красные маки цвели —  
где костромские полозья  
след голубой провели.



Там начинаются горы —  
солнечная сторона:  
стройно заполнены хоры,  
празднично пихта черна.

Так ослепительным летом  
слишком черна и резка —  
помнишь? — на камне нагретом  
тень полевого цветка.

Краток закат и обрывист.  
Всё хорошо, старина, —  
если мне очи не выест  
северная белизна.

Но бояться надо было белого зноя Армении и Грузии. Отвесного, резко делящего свет и тень, жар и холод. «Бояться» — это к слову, но ловить себя на чужой, южной поэтике мне приходилось не раз. О Шаламове:

Я угадал его лицо,  
Я целовал его следы.

Вторая строка — грузинская. Много на чём ловить можно «кавказских пленников» вроде Лермонтова, Заболоцкого, Пастернака да и Пушкина самого! И обратно: на Некрасове ловил я наиболее «русского» из переводимых мной поэтов Грузии — Шота Нишнианидзе.

Милый город Кологрив! Огромная, как планета, Грузинская культура обращается, твоей культуры не касаясь. С Армянской повезло больше: твой земляк, твой поэт Владимир Державин переводил эпические поэмы народов бывшего СССР — «Давида Сосунского», в частности. Извини, если чужие звуки нарушат твою дрёму, но мне как быть, если целый лес



«деревянных» стихов-переводов просится сюда хоть клинышком, хоть малой незаконной делянкой?

\* \* \*

Работают корни спеша,  
росток выгоняя. Однако  
есть света небесного тяга —  
растения ум и душа.  
Разумная стройная сила  
и мачтовый лес возвела,  
и, словно бы нитку игла,  
сквозь щебень  
                                траву  
  протащила.

*(Алио Мирицхулава)*

## БЕЛОЕ ПОЛЕ

Как лёгкий пепел, сон покрыл меня. Спала  
тьень ветви на лице, и лиственный тело  
вitalo надо мной, а там, белым-бела,  
сияла твердь — как снег, как мысль и как хотела.

Я спал, но я хранил живительную связь  
сознания и сна, я странствовал по воле —  
и обогнула ветвь, витая и виясь,  
знакомый склон горы, белеющее поле...

Там помавает конь прекрасной головой —  
подобное в горах он вызовет движенье,  
и песня разорвёт предел голосовой...  
Но смерти нет вообще. А этой — нет блаженней!

Но где твоё лицо? Я сплю? Я слеп? Ужель  
ужель твоё лицо мне перестало сниться?

Я разрываю сон — так разрывает ель  
нагорий облака — и движется, и длится...

На камне тень твоя. А ты? Я одиноко,  
когда меня твоё обманывает имя:  
другую так зовут... А третья — мой порог  
стопами перейдёт неслышными твоими...

За что?.. В чужой душе я только слеп и нищ.  
Не помогают мне чужие утешенья.  
Не верю белизне, где бездны чёрный свещ —  
и тонет в камне тень — плашмя и без движенья.

*(Отар Чиладзе)*

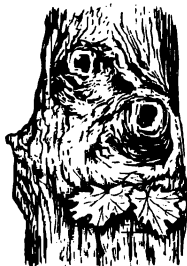
## КЛЁН

И поблёлка и позолотела,  
а подмёрзло — всю расцвела...  
Тропку ласточка перелетела  
и над бездной слепила крыла.

Высоты переполненный кубок,  
золотое руно октября.  
Величавый обломок-обрубок —  
клён пылает и пышет заря.

А кора у него камениста,  
а листва у него молода  
и прорезана нежно и чисто,  
и пронзают её холода.

Словно эти корявые ветви  
от развилки — тропа и тропа.  
Оглянись на зарю и помедли —  
как заря, как деревьев толпа.



Здесь преданья витают поныне  
над обрушенным утлым жильём,  
здесь бесплодные молят рабыни —  
две рабыни — о чреве своём.

Шум невидимого водостока,  
где речонка в бетоне узды.  
Солнце выглянет с юго-востока —  
из-за той вон кудрявой гряды.

Смотрит клён на террасы Самадло,  
на угрюмый зубец Кёр-Оглы.  
Не согнуло тебя — хоть сломало,  
навязало на память узлы.

Будет полдень достоин преданий:  
небольшое усилие ума —  
и рванётся дорога к Бетани —  
как дыханье, как выстрел пряма!

Где задумался клён-перестарок —  
с лёгкой ласточкиной крутизны —  
через весь крючковатый кустарник,  
так — летающие — спасены.

А по тропкам сходя кропотливо,  
можно храма совсем не найти...  
Бей, охотник, бездельник счастливый!  
Ласточка,  
                    замирая,  
                                    лети!

*(Галактион Табидзе)*

**ПЕРЕВЯЗЬ...** Переписал эти стихи из Антологии мировой поэзии, перепису и то, что её составитель Евгений

Витковский говорит обо мне. И нелишне будет сказать о дремучей природе ненависти к инородцам.

«В 1983 году знаменитое своей черносотенностью издательство “Советская Россия” выпустило своеобразную антологию: “Симфония лозы. Грузинская поэзия в переводах русских поэтов”. Парад имён от Анны Ахматовой до Игоря Шкляревского. Был том солидный, но с какими-то странными пробелами — чуть не больше всех для Грузинской поэзии сделавшие на русском языке поэты Владимир Леонович и Юнна Мориц, к примеру, там отсутствовали. Со временем секрет всплыл наружу: в первоначальном варианте состава их переводы были, но главный редактор издательства тов. Сергованцев, в своё время прославившийся организацией травли Пастернака в стенах Литературного института, вычеркнул их. Вычеркнул потому, что не мог вычеркнуть... как раз Пастернака, которого к этому времени благополучно зачислили в классики советской поэзии. Сергованцев отыгрался на Леоновиче.

К счастью, история на такие клопные укусы плевать хотела. В Тбилиси, в издательстве “Мерани”, тремя годами позже вышла авторская книга Владимира Леоновича “Время твоё”, включавшая избранные переводы с грузинского и собственные стихи поэта о Грузии».

Антисемиты — народ по преимуществу серый. Польскую фамилию в этом случае посчитали еврейской, не подозревая, что польстили мне... Четыре им строчки:

У чёрной сотни есть мотив:  
кто на Руси жидолюбив,  
тот ненавистнее жида.  
Так это я ведь, господа!

## ВЕСНОЮ ПОЗДНЕЙ

Меня похоронили маловеры  
в дешёвом склепе сплетен и клевет —  
меня кольщут не такие ветры,  
и корни держат не такие — нет!

Мыслители, могильщики, пророки!  
Деревья живы на три стороны —  
так светом вскормлены, так разнобоки.  
Я попрошу: не стойте со спины.

Да не жалеите — вы — меня: я встану  
из гробика готовенького, чтоб  
сработан был, как древле Иоанну —  
просторный и крестообразный гроб!

Перегорев и перетлев душою,  
с самим собой, с природою правдив,  
я грянусь оземь — дерево большое —  
весною поздней, в листьях молодых!

## НА КАМНЕ

Плыви течением волокон,  
упрямый камень обогни,  
а чтобы вырваться не мог он,  
опеленай, опелени...

Плети круги свои — оплетни,  
в расселине укоренись  
и листовницею столетней  
на всю округу оглянись.

Держись — лохматою колонной,  
разпираясь о персты,

одной-единой потаённой  
живою силой — красоты.

Чудесно сжатую до взрыва  
освободить — избави Бог! —  
и волокнистого наплыва  
распутать, размотать клубок.

\* \* \*

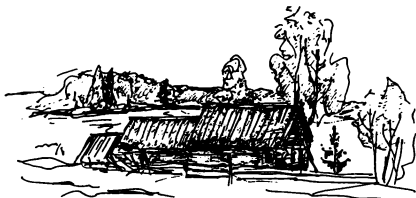
Век живёт у оврага  
берёзина вниз головой.  
Стройны отпрыски. Только и правды,  
что на берёзе кривой.

Бабка, кошка, козлуха  
в деревеньке лесной.  
Разговаривает старуха  
с тишиной.

Это свыше  
ей дар таковой.  
Опирается на косовище,  
клонится над травой.

У худого покоса  
гнёт тебя пополам...  
Знак вопроса,  
неясного нам.

Позимуй да полетуй,  
не пыли прямогой  
возле спинушки этой  
либо — той.





совершаются величайшие драмы:  
вижу Лира,  
узнаю Ипполита,  
природа смела в каждом сдвиге.  
Отделите добро ото зла — будут книги.  
Всё меня изумляет. Всполохнётся тетёрка  
и пулей с-под снега вылетит и петляет! —  
Только слово сообразить успеваю —  
выстрелить забываю.

Но потом всё равно жиловатое мясо от страха черно,  
подожмётся в печи, зарумянится —  
из меня так и не получилось вегетарианца.  
Будут по полу красные блики — спаси-сохрани! —  
женщину прогони, слово выкинь:  
нет, учитель, ни возраста, ни тебе пола —  
школа! Дети — и только они  
да твои наблюдающий дни Чудотворец Никола...

Все слова сохрани. Таково,  
недостойный, живу возле храма его.  
Колокольню и купол алтарный снесли.  
Храм походит на остов  
                                опрокинутого корабля на мели,  
на угоре погоста.  
Но зажмурься — и мнится,  
                                будто цел и хорош на заре...  
Вон — бельё кладовщица развешивает в алтаре.





\* \* \*

В Калязине душном шиповник цветёт,  
в Калязине влажном высок и опасен  
разлив подземельных блуждающих вод —  
при малом дожде оплывает Калязин.

Зачем на зубах эта терпкая вязь —  
зелёная каменно-кислая слива —  
и странное чувство — никак не зовясь —  
у тёплого моря удушье прилива?

Лягушки вопят в потоплённом бору,  
такие лиловые и голубые...  
Когда, я не знаю — весной, поутру, —  
а только не вынесу этой судьбы я.

И пальцем не тронут, никто не убьёт,  
а только не вынесу — жизни родимой...  
В Калязине душном шиповник цветёт,  
неделю стоит, кисловатый, сладимый.

От вольного света, от жизни дневной —  
запомни, Калязин! — чиста роговица,  
когда перед старостью или войной  
является светлая отроковица.

\* \* \*

Служить садовником, и солнцем,  
и чёрным ледяным колодцем  
в углу сияющего сада —  
и больше ничего не надо.

Но расцветала надо мной  
и, на лицо земли сырой  
мне цвет младенческий клоня,  
моя стояла яблоня...



\* \* \*

Путь дальний — ближний не годится,  
а почему — не враз поймёшь.  
Как выйдешь — девочка родится  
и вырастет, пока дойдёшь.

Звенит водица ключевая,  
шумит тенистая сосна.  
Весна моя сороковая —  
как будто первая весна.

Мне снится лес и семь избёнок  
за полем голубого льна.  
Издалека — бежит — ребёнок —  
подходит — женщина — она...

Ты сон согласия и покоя.  
Шумы, сосна, звени, вода.  
Потом — старуха ткиёт клюкою,  
потом — почти уж никогда...

И через поле то льняное  
уйдёт к поваленной избе  
и доживёт своё земное,  
невыносимое тебе.



\* \* \*

Я вышел из унылой гари  
на место свежее, где тёк  
во льду и хвое светлокарий  
и тёмнокарий ручеёк.

Синело донце золотое,  
весна запаздывала. Я  
напился зимнего настоя,

сказал, что я тебя не стою,  
и поглядел в глаза ручья.

Еловый бор неколебимо  
стоял и слушал — и одно  
я повторял: мне — всё — любимо,  
мне всё любимо, всё — равно

любимо... Благорастворенье —  
проклятье верное моё...  
И в чащу вновь вошёл я тенью  
и светом вышел из неё.



## ВЕЧЕР. ОЗЕРО

Отделённый сумраком от земли,  
бор не опирается на комли.

Будто рукою лёгкою взнесены  
заповедные стройные три сосны —

триединая плоть одного комля.  
Всё принимает лес и несёт земля.

Троелучица бора, хоть ты прими  
человека, простёртого на земли.

Тесный

золотоствольный

свободный ритм.

Небо повечерело,

звезда горит.

Чистый — как подмели — угор моховой  
над озёрной сонною синевой.

\* \* \*

Лесные перестарки...  
*Твардовский*

...А лиственница хороша  
и на голову выше леса.  
В ней шелковистая душа  
и древесина как железо.

Бывает так: на море хвой  
налягут ветры верховые  
и ломают корень становой  
и вырывают боковые.

Великолепный ствол простёрт.  
Всё погибает быстро — или  
годами мается — растёт...  
Какое дерево свалили!



Помню такую лиственницу, поднимавшуюся со дна оврага, с плосковатой кроной, парящей над лесом. Это Заонежье, места, о которых ещё представится случай рассказать. То гигантское дерево можно навестить, его хватит, наверное, ещё лет на двести. И вряд ли есть ветры, способные этот лиственень повалить. Верховые ветры стихов, как вы, вероятно, догадались, суть силы политические, ровняющие пейзаж, чтобы вершины не высывались и не торчали за определённой им чертой. Шаг влево... шаг вправо... Тем более — лишний метр вверх. Стихи списаны с политической расправы над Александром Трифоновичем Твардовским.

# ТВАРДОВСКИЙ

## Фрагменты

Прогуливался вечерами.  
Сквозил как лось в березняке,  
и в рост обозначался в раме  
дверной, и медлил в косяке.  
Потусторонне спросит, нет ли  
чего на донушке... Болесть  
затягивает хуже петли.  
На донушке, по счастью, есть.  
Сидит в бушлате иль «москвичке» —  
в том дачном рубище своём  
под гнётом горестной привычки.  
Я пью, ты пьёшь, он пьёт — мы пьём.  
Я не люблю молву мирскую —  
ей в пересудах откажу.  
«Свою п'ю, а не кров людськую» —  
Шевченко не перевожу  
и невозможно: «Шкода й праці»...  
Когда Твардовский в петлю лез,  
он был медлителен и трезв,  
и в этом стоит разобраться.

Тому назад уж много лет  
у «дядьки» нашего Бориса\*  
на даче под Москвой открылся  
Твардовский университет.  
Иркутский был, и был Московский,  
однако времени сему  
нас вразумил старик Твардовский —  
всех вместе и по одному.  
На даче всласть я зимовал —

---

\* Писателя Бориса Костюковского. — *Прим. ред.*

тот год бездомен был и смутен...  
Там жил Шугаев, жил Распутин,  
Преловский жил, не горевал.  
Вампилов Саня... Мир ему.  
Берёзки, ёлочки, осина,  
и теремок стоит красиво,  
и гость прекрасный в терему.  
У вас тут прямо общежитье —  
Сибирь! Странноприимный дом...  
А как здоровье? Как с жильём?  
Возьмите... в долг... не откажите.



.....  
Был с половиною страны  
Твардовский в частной переписке  
и косо и со стороны  
глядел на рынок олимпийский.  
Прости, Олимп: тот разум благ,  
в ком золото — рассудок детский...  
Есть Исаковский, есть Маршак  
на бедность лирики советской.  
Ахматова... Был Пастернак,  
но этот — выкормыш кадетский,  
а я, вы знаете, кулак —  
Твардовский пан и шпынь шляхетский.  
На вещем языке доносов  
я собиратель всех отбросов,  
я пригреватель всех злодеев,  
особенно из иудеев.  
Раскольник и смоленский патер,  
освободитель сумасшедших,  
не в эти ворота зашедших,  
и мертвецов реаниматор.  
Заведующий старой свалкой,  
ходатай и стучатель палкой,

поскольку кандидат в ЦК...  
В опале, правда, но — пока...  
Я вдохновитель перекосов:  
в журнале есть такой отдел —  
земельный «чёрный передел»  
для самых проклятых вопросов.  
Василий Тёркин — в царстве мёртвых.  
Читали? Хвалят... Не прочтут...  
Что ж молодые не растут?  
Не жалко — траченных да тёртых?  
Вздыхал: сознание — поздний дар  
ущерба и похолодания.  
Как думаете, Вольдемар,  
Россия — всё-таки не Дания?  
К себе сомненья примерял  
и шпагу горестного принца  
и, треснув кулаком: я — дряхл! —  
шептал: сознание... боится...  
Все нужники сам обхожу,  
с журналом — месяц проволоочки.  
Старьё, жульё... поодиночке...  
А что же вместе? Погожу.  
А как же — у кого служу,  
того бранить неблагородно.  
Иное дело — принародно,  
по расхождению идей...  
В нём это жило и болело:  
«Мне правда партии велела  
всегда во всём быть верным ей».  
Шёл — прямо, оказался — слева.  
А большинство ушло правей!  
Что делать? Врать? Себе дороже...  
Потом попробуй зачеркни —  
так и напишется на роже!  
Попортить борозду — ни-ни...

А знаете, читать стихи  
так стыдно: выйдешь словно голый...  
Я слушал: так шумят верхи  
и тишину грызут глаголы.

.....

Вчерашний гость — и нынче в гости.  
Снег, иней, солнце и мороз.  
Всё опушилось и зажглось.  
Стоит и дышит: Гос-по-ди!  
Вы не смотрите на меня...  
Природу я не украшаю.  
А знаете, не возражаю —  
немного... для начала дня.  
И Белла, Белла там жила.  
Она бы рассказать могла:  
серебряная, кружевная  
зима была... А я не знаю.  
Была — и не было зимы,  
и правил мной не бог деталей,  
но то окно нездешней тьмы  
за здешней — той, за далью далей!

За новомировским столом  
Твардовский в голубой рубахе.  
Всё пребывает — поделом —  
в почтительном державном страхе.  
Магнитофонная змея  
прокручивается вхолостую...  
Стучатся — входят. Это я  
пришёл к нему. Я протестую.  
Против чего? Против молвы:  
Александр Трифонович, Вы  
отrekliсь от Солженицына?  
Не понимаю...



Не понимаете? Отрёкся?  
Куда молва — и ты туда?  
И я о взгляд его ожёгся —  
воскрес и умер со стыда.  
Вдруг выцвели его глаза,  
потом зрачки заполнили  
пространство дышащее — за —  
раздавшееся там, за ними.  
И поминая вашу мать,  
и багровея, как при флаге,  
орёт Твардовский: вурдалаки!  
Хрипит Твардовский: грязный тать!  
Соратнички, секретари —  
и с прахом дольным их мешает.  
Свобода рвётся изнутри —  
словарь великий воскресает —  
славянская прямая речь —  
родная,  
                    рваная,  
                                    босая! —  
когда является Исайя  
сквозь грудь разверстую протечь...  
И ни-че-го не разумели  
висящие вниз головой  
запоминающие змеи  
аппаратуры слуховой.  
Он наплевал на их коварство,  
он отвечал за их позор,  
последний рыцарь государства,  
и мученик, и фантазёр...  
Непререкаемый генсек  
той партии, которой нету,  
за то сживаемый со свету  
больной и старый человек...  
Твардовский не был пощажён.  
Своя — своих... Тишком, окольно...  
Своя — своих... И он пошёл

навстречу своре — на рожон —  
медлительно и добровольно.

И снова тихая Пахра.  
Его последний день рожденья...  
Кончается пора цветенья.  
Жасмин в окне, и дождь с утра.  
Мы не видались года два —  
как будто вырваны страницы —  
больной доставлен из больницы  
и не выходит никуда.  
Пришли, поздравили. Была  
среди друзей княжна Светлова-  
Амирэджиби... Как дела?  
Пра-хо-вы-е... Четыре слога.  
Был стол — я убежал. Ещё  
мной не изведанная горечь  
нахлынула... Где Леонович?  
Не-хо-ро-шо...

Нехорошо. Он был бойцом...  
В начальных сумерках, с лицом  
багровым и одутловатым  
вставал к работе молодцом  
часу в шестом, а то и в пятом.  
А как однажды прямиком  
по дачной узенькой аллее  
гнал палкою и матюком  
правительственного лакея!  
«Высокой честью» оскорблён —  
пакетом — подлой синекурой.  
Твардовского — скажи им — шкура  
отдельно — стоит миллион!!  
На дачный весь архипелаг  
летели молнии и громы,  
где нынче задом на овраг  
выходят люськины хоромы.  
Схватился: сердце... Здесь, в конце

аллеи, просеки в начале...  
Но страха не было в лице,  
а смесь презренья и печали.  
И за два этих года сдвиг:  
труд совести, души и смерти...  
Светлейшая шептала: Гмерто!\* —  
покуда нем сидел старик.

За молчаливою рекой  
в краю печали и мороза  
не докричатся перевоза —  
где перевозчик молодой?  
Ни голоса из-за реки  
и ни мосточка, ни жердинки.  
В лице прозрачном — ни кровинки  
и — дышащие те зрачки.  
Я вижу мать и вижу сына  
и гиблого народа тьму:  
содвинулось — лицо — едино...  
За что же мучиться ему?  
Какой указ? Какая стать  
народу гибнуть в месте диком?  
Перед лицом же, перед ликом  
замученных —  
не устоять.

Я убежал — смотреть не мог.  
Овраг, захламленный лесок,  
куда-то дальше, дальше, к полю —  
упасть и вырветесь вволю!  
...И жизнь пройдёт, и смерть пройдёт,  
и кто-то, взысканный утратой,  
как Тёркин твой, переплывёт  
на берег правый — и вперёд  
путём поэзии проклятой!

---

\* Господи! (*груз.*)

## АКВАРЕЛЬ

Размытая сиреневая высь.  
Три дерева над мостовой сплелись,

и дальний ствол — раздвоенный, кривой —  
я вижу — падает вниз головой...

Такая прихоть линий и теней —  
и первый видящий повинен в ней.

Отбрось твой глаз, как сказано, — и прочь!  
Но ничему уже нельзя помочь...

Земля и небо — всё во всё вросло.  
Под акварелью — имя и число:

простёрты ветви на ущербе дня  
задолго до паденья, до меня.



## ТАК И ТАК

Слабого не соблазни.  
Истина дурна и дика.  
Фальши затяжное иго  
милосердию сродни.

Слов прямых не говори —  
есть важнейшие резоны...  
В быстрой камере кессона  
кровь вскипает изнутри.

Чахнут ёлочки в тени,  
а на вырубке от света.

Должного иммунитета  
не приобрели они.

Так и так, мои друзья,  
выбор наш весьма убийствен:  
между долгого вранья  
и скоропостижных истин.

## В СОЗНАНИИ ДРЕМУЧИХ ПРАВ

Река была утомлена  
своей борьбою терпеливой  
и шла, прозрачна и черна,  
и повторяла кропотливо  
левобережный дальний бор,  
стволами золота и черни  
лежащий поперёк теченья,  
и тот Макарьевский собор,  
разрушенный перед войною,  
но золотом и белизною  
мерцающий на лоне вод,  
пока идёт последний лёд,  
и рассыпает бредина  
по щебню золотые купы,  
и туристические группы  
внимают, чем земля красна,  
хотя полу-Калязин с борта  
и выглядит весьма негордо...

Запечатлеют колокольню  
в воде на правом берегу,  
где Волга делает дугу,

и по апрельскому раздолью  
туртеплоход проходит мимо.  
А колокольню ту сберёг,  
сломав ненужный алтарёк,  
кружок Осоавиахима —  
оставил для прыжков и риска,  
но девочка-парашютистка  
разбилась там... Молва темна:  
де, отомстила старина  
гонительному Волгострою.  
Теперь библейской стариною  
звучит: Осо-ави-ахим,  
когда не вовсе быть глухим —  
как Авраам, как Досааф.  
Самих себя не опознав,  
живём в предании как дома,  
в сознании дремучих прав  
уничтоженья и погрома.

...Последний лёд из-под Дубны  
плывёт, не зная глубины,  
плывёт, и льдина-лебедица  
на отмель нехотя садится,  
на щебень крепостной стены,  
где нежно купа золотится  
прозрачной ивы-бредины.



## ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С БАБКОЙ АННОЙ, ГОЛОС ЕЩЁ В ВОЗДУХЕ

ИЛЬИН ОСТРОВУШКО БАЖОНОЙ  
ТОНЬ МАЛ — ДАК ОН И НЕ ДЕЛИЛСЫ.  
ПАХАЛСЫ. РОВНО ПУХ — ПАШОНОЙ!  
КОСИЛСЫ. КАК ЖЕ НЕ КОСИЛСЫ!

И выцарапывала камень  
ОШШО ТАКА ВИЛАНЬЯ-СОШКА,  
и обступал валунный рамень  
поля, утопшие немножко...

ИНОЙ ТАК ДВОЕМА БЫКАМИ  
ИЗ ГЛУБИНЫ ВАЛУН НЕ ЗДЫНУТЬ.  
ОШШО И ГРЕХ... НАРОШНО КАМЕНЬ  
ТАШШЫШ — КАК НАДО БАБЕ СКИНУТЬ.

Подзол да МЕНЕНЬКОЙ КАМЕШНИК  
накормлены за три столетья.  
УЖ КАК НАСЕЛ НА НАС КРОМЕШНИК,  
ДАК И САМИХ В ХОМУТ ДА В ПЛЕТИ!

У НАС-ТО ШТО — У ИХ-ТО ВОЙСКО!  
У ИХ ПРИ ЖОПИНЕ НАГАНЫ.  
ВСЕ ЧЁРНЫ — НЕРОБОТЬ СОТОНЬСКА —  
ВСЕ КОЖАНЫ КАК ТАРАКАНЫ...

Борами затянуло густо  
все пожни после супостата.  
А не бывает место пусто,  
какое место было свято.



ШТО БЫЛО — ГДЕ-НИГДЕ ХРАНИТСЫ.  
ВСЕ НОНЕ ПАШНИ ОСТРОВНЫЕ —  
БОРЫ, БОРЫ, ДА ВСЕ — ГРИБНИЦЫ,  
ДА БЕЛЫЕ! ДА ЯДРЕННЫЕ!

## К ПЕТРОВИЧУ

Как ты, Петрович, в лес не стал ходить,  
так и грибы родиться перестали,  
тропинка заколодела, родить  
уже не хочет — разве так, местами.  
Обабки вот... Обабок что за гриб!  
Болотные обабки — тонки лапки.  
Набрал полкороба — отдай-ка бабке,  
хоть поругается, а суп сварит.  
На Кулгом-озере кидал блесну,  
кидал-кидал... Вот выманил одну:  
от рыбака и щука отвыкает.  
Избушечка? Цела, не протекает,  
видать, недавно человек гостил:  
всё прибрано, оставлена заварка,  
припас подвешен. Чаю вскипятил...  
Тот жил порядком: в банке три огарка.

И что не жить, Петрович! Ведь места  
за пазухой, сам знаешь, у Христа:  
две речки, озеро, боры, болота!  
Трудись и благоденствуй, и никто-то  
не вякает, не виснет над душой,  
и всем в лесу ты свой, а не чужой,  
на берегу избушка на пригреве,  
**И ДОБРОТА ЕГО ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ** —  
стихотворенья важная строка.  
Бежит в деревню за тобой лосёнок  
и всю дорогу плачет: молока!  
Здесь пауза — как паутинка тонок  
зазор такой, волосяной мосток,  
другое руслице нашёл исток:  
что может быть, то будет — по-другому!  
Вот радость! А когда дошли до дому,  
ослаб лосёночек... И молока  
в деревне нашей гиблой ни глотка.



Неделю-две ходила, выла тихо  
по заозерью глупая лосиха.

В овраге недалёко от моста  
осину помнишь? — Лет ей, может, триста.  
Земля забагровела от листа,  
трепещет крона, льётся как мониста.  
Другое имя — это бытиё  
другое — вспомнится или помстится:  
когда гляжу, Петрович, на неё,  
откуда-то находит: ТРЕПЕТИЦА!  
А младшенький разумный отпрыск мой  
ей «здравствуй» говорит, ладошкой гладит...  
Пока он гений, школа с ним не сладит,  
Бог даст, приедем как-нибудь зимой.  
А лучше в марте: свет и красота!  
Приедешь — а деревня и пуста —  
и всё. Разор дошёл до точки. Точка —  
и что теперь, писатель-одиночка?  
Была деревнюшка и больше нет,  
всех схоронили за пятнадцать лет...  
Всё ждал крестьян «последнего призыва»,  
как мог, крестьянствовал летами сам,  
звучат призывы, но всегда фальшиво:  
крестьянин крепкий ни к чему властям,  
ни власть — ему. Как сирота, она,  
бедняга, лишь сама себе нужна.  
Не будет лишнею и эта строчка,  
и что ты мог поделаться, одиночка?  
В стихотворенье вставить обиняк?  
Кому застой, кому сплошной сквозняк:  
провинция — село — Москва — грузины...  
Тем — зарубеж, тем — лагерь и тюрьма;  
а мне — до помрачения ума —  
Отечество! Терпенье... Зимы... Зимы...

Тот запил, этот спрыгнул с этажа,  
тот в почтальоны, этот в сторожа,  
тому наркотик, этому ирония —  
полпоколенья счавкала хавронья!  
А если бы заботники мои  
мне выбор предложили: **ВЫДВОРЕНЬЕ**  
**ИЛИ ТЮРЬМА?**..  
Вперёд, стихотворенье!  
Всё выбрано! Ещё немного, и...  
Но эти вещи надо знать. Я знаю  
давным-давно. Во сне который раз  
нейтралку тёмную переползаю,  
сюда — оттуда — полоснёт сейчас...

Чего задумался? Да так, о всяком.  
Чего... **ЧЕГО В МОЙ ДРЕМЛЮЩИЙ**, та-та,  
**НЕ ВХОДИТ УМ...** Так-так, и с этим таким  
уже в двери, уже пригнулся... Да!  
Скажи, Петрович, печь-то какова?  
(Я боров перекладывал.) Похвастай.  
— Так тянет нонь — в трубу летят дрова!  
Ты хоть писатель там, а головастый...  
В десятый раз всё слышу и порок  
печной врождённой кладки излагаю,  
в десятый раз — ногою за порог —  
оборотясь, бездельников ругаю.  
Но тут и бабка голос подаёт  
и вылезает к нам на свет, и тут уж  
я их спрошу: кой леший вас несёт,  
последних стариков — туда же, в Пудож?  
— Придёт какой-ни гопник, настроит, —  
покорно соглашается Васина...

Высасывает и центростремит  
людей нечеловеческая сила.  
Кому оплачивать чужой разбой

прибавочным трудом на благо вора?  
Оплатим, мать их в душу, но не скоро...  
Ты сокол сталинский, Господь с тобой,  
у нас об этом нету разговора.  
Притёрлись, как в прибоёс камешки,  
народ постёрся: матюки, смешки,  
глаза зальют и кольев не ломают,  
изъяты коренные мужики,  
биоценоз нарушен — понимают...  
Так щуку если выбьют острой  
или сосняк повторно обессочат...  
Но если деревеньку раскурочат,  
тогда и ты почувствуешь: изгой.

Однако в марте буду попадать  
на свет, на утренники... Благодать!  
По насту гулкому до Заболотья  
катись — да неужели наяву?!  
И помяну не раз, и позову:  
Серёжа,  
Митя,  
Сашенька,  
Володя...  
Без вас — как мне обидно одному,  
друзья, смотреть на свет  
сквозь вашу тьму!



**ПЕРЕВЯЗЬ...** Застой. А вернее, ЗАМОР. Подлёдная духота. Сейчас её наши филологи зовут СТАБИЛЬНОСТЬ. Дышать можно, но дыханье частое и короткое. Ох, эти филологи. А мне везло всегда и теперь везёт на метафору: одышка старика — инвалида армии проецируется на ваше дышанье, дорогие кологривцы, дорогие илешане, далее дорогие — везде. Сочувствую вам, но ещё больше сочувствую тем, кому

нравится дышать уже отработанным, обез... кислородным воздухом. Как нам дался замор?

Дорого. Стрелялись, давились, спивались, перерождались, пропадали кто где. А те, кому всё это нравилось, упражнялись в филологии. Американский, сиречь плохой английский, заполнил трусливо или смертельно пустующие соты живого русского языка.

Но ещё несколько слов о Твардовском. О том, как изымали из боевой рубки ведомого им журнала «Новый мир» — операция длилась долго, — историки ещё напишут. Обопрутся, видимо, на Карамзина, тончайшего моралиста и дотошнейшего собирателя примет времени и свидетельств, прямо идущих к делу и, казалось бы, вовсе не идущих. Это будет эпическое повествование о том, как подлость победила благородство. Её соединённые силы вдсятеро превосходили «противника», исход был ясен задолго до конца. Здесь скажу только, что был разгромлен корпус «деревенцев» — писателей, кровно озабоченных судьбой деревенской России, ныне сходящей на нет. Журнал сплывал простонародье с интеллигенцией и современность — с её вчерашним временем, каким бы немислимо страшным и диким оно ни выглядело. В журнале, перенявшем некоторые черты личности своего редактора, эти вещи поданы были мягче, но и глубже того, что потом появилось у соседей — «Современника» и «Октября», «Невы» и «Авроры», «Сибирских огней» и «Простора»... У Кологрива есть прямой интерес к «Твардовскому журналу», его сильной оппозиции сегодняшнему засилью чистогана и пошлости. Мыслимый порядок вещей...

Вещей священный распорядок  
в житейский хаос обращён...

Из 1969 года как бы пишет нам в 2014-й прошедший войну Твардовский: воспоминания Г.К. Жукова — кровавая книга, маршал воевал числом и положил тьму солдатских жизней. Генерал Павлов в первые часы войны проявил не большую растерянность, чем Сталин, но спокойно и сознательно нарушил приказ Ставки о контрнаступлении, которое привело бы к огромному котлу и бойне попавших в окружение дивизий. Логически дополняю, извините, записанное Твардовским в «Новомирском дневнике», но ценность человеческой жизни сегодня котируется в зависимости от роли и места человека в бизнесе. А в бизнес превращены все институты гражданской жизни. На последнее двадцатилетие чистоган наложил несмываемое клеймо, которое можно только выжечь...

Можно? Я знал старика Кривова — члена первой ЦКК — комиссии,веряющей чистоплотность ранней (начало 20-х) советской жизни. Чистотою она не отличалась, но воровство и издоимство были наказуемы. Ещё не изжита была догма французских коммунаров: начальнику жить скромно, получать не больше, чем средний рабочий, не иметь никаких привилегий... На этих наивностях настаивал Ленин в «Государстве и революции», но большевики, победившие всех врагов, союзников и конкурентов, не победили собственных простейших инстинктов. Я жил в Калязине, когда недалеко от него, в Скнятинском заповеднике, охотился Никита Хрущёв. Это было НОРМАЛЬНО. Давно и уже нормально. Тем более потом. «Царские» охоты и рыбалки царьков тогдашней вертикали осторожно ругал Василий Песков в своей «Комсомолке» и журналах и от души и со слезами материл в тех же редакциях. Чудо, что его не арестовали. Чудом были остатки совести у тогдашней власти.

## КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕШИЙ

Век бы жил на этой просеке  
да ещё один бы век,  
где молоденькие сосенки  
гнёт-погнёт и ломит снег.

Я бы глупое и нежное  
дерево освободил:  
бремя влажное и снежное  
всё бы стряхивал-ходил.

По рассвету-свету тихому  
не хлопал бы дверьми,  
научился бы по-ихнему  
собеседовать с зверьми.

Баловал их солью-сахаром,  
поил бы молоком,  
был их лекарем и знахарем —  
ходили бы гуськом  
зверь за зверем за зверьком...

Звери, люди, мы не братья ли?  
А по заячьей тропе  
пробираются каратели  
к моей лесной избе.

В чёрных масках, с автоматами,  
видать, из дальних мест.  
Горе с этими ребятами —  
совесть их потом заест.

Сниться будет кровь на просеке,  
солнце мартовского дня.  
Ваши детские вопросы  
вы решите без меня.

А в потьмах угла медвежьего  
вечно будет попадать  
в хитрые капканы Лешего  
губернаторская рать.

Дело это выясняется,  
дело это не мертво.  
Там четырнадцать слюнявцев  
на меня на одного.

Чудом были остатки совести. Можно было их замять. Можно было замять в кровавом снегу худую славу Кологривского заповедника, но подвела провозглашённая перестройкой гласность. Жил человек в лесу, сжился с ним, кормился им, охотился, но и работал в нём — доглядывал, не загорелось ли где, не безобразничает ли кто. Слава о Лешем была доброй. Худой была слава блатной охоты. И сенсацией, правда, короткой, стало кологривское ЧП: убит без суда и следствия... Оглядка на губернатора Игоря Слюняева следствиям судебным, журналистским и другим — помешала. Вы помните, как раб на картине Иванова «Явление Христа народу», избочась и снизу, заглядывает в лицо Крестителю? Особенно снизу и особенно сбоку — на этюдах этого раба.

Раб, неприятно голубой,  
ослабился: чего угодно?  
Присел — глядит наверх — и потно  
над вывернутою губой.  
Приплюснут нос, наставил ухо...

**ПЛЮС РЕПТИЛИЗАЦИЯ** — не добавлено к провозглашённым плюсам ускорения, модернизации и других оптимизаций.

Но рептильности не проявила тогда районная газетка. Преступление подверглось первичной обработке, единственно возможной и необходимой, несмотря на санкцию «заткнуть», спущенную из области.

Игорь Николаевич, мы в странном положении, и нет на нас Достоевского: вы меня поздравляете с юбилеями — а я художественно расследую то, что вы натворили с подачи, видимо, директора заповедника, чьим именем он сегодня помечен.

## ПО ПРАВИЛАМ ВОЙНЫ

Прости ты нас, прости людей:  
мы вырастали без корней  
и мы не знали, что творили  
и сколько жизни уморили.  
Тебя обрыли с трёх сторон,  
вершину тросом захлестнули,  
машину подогнали, гнули...  
Был произведен твой урон.  
Тебя распилят, приберут,  
распишут по графе расценок  
ненужный и недобрый труд.  
Ты был нестар, силен и цепок,  
лет семьдесят гляделся в пруд...  
Я узнавал, ходил в конторку:  
они стеклянную обжорку  
на этом месте возведут.  
Дела идут согласно сметы,  
хотя по правилам войны



тут никакие не нужны  
сомнительные сантименты.  
Мы, недобитые враги,  
очкарики-интеллигенты,  
даём ненужные советы,  
имеем лишние мозги.



Лишних мозгов у мантуровского надзора за опасностью  
старых деревьев нет, и неосознанную досаду они срывают на  
безопасных деревьях. Нужна галочка в отчёте.

\* \* \*

Была красавица — теперь уродка.  
Что сделали с тобою, Сквородка!\*  
Кому так ненавистна красота,  
что микеланджеловская Пьета  
становится мишенью идиота  
и неопределённоличный кто-то  
в лицо стреляет Матери Христа?  
Как Божья Мать, растерянно и кротко  
глядит растерзанная Сквородка.  
Столетний дуб по возрасту — дитя.  
С каким идиотическим стараньем  
погублены деревья в детстве раннем!  
ЗАЧЕМ? И, пальцем у виска крутя,  
стою на сквере с жалким покаяньем.  
Урод всегда воюет с красотой.  
Преследуя Рембрандтову Данаю,  
он грудь сожжёт ей серной кислотой  
ЗА ЧТО? Не знаете? И я не знаю.  
А под землёю роца коренная  
задохлась, опрокинуто ветвясь.

---

\* Площадь Ивана Сусанина в Костроме. Деревья скверика на ней все были спилены в одну ночь.

Я на земле, которой нет роднее,  
ещё стою. Стою и КОРЕНЕЮ,  
всё глубже, всё большее коренясь.  
Здесь весь мой род, преданья и могилы —  
и что твои мне топоры и пилы,  
чужая, злая, воровская власть?

Коломенским дубам за восемьсот, костромским было едва за сто — дети! Дубки, липки, вязы были кустарником сто лет назад (или вовсе их ещё не было?), в дни громкого юбилея Романовых. 400-летний был, вопреки ожиданиям, скромнее и глуше. К чему бы? Возрождён герб — возрождай трон, — чего стесняться?

Будете в Москве — поднимитесь от Арбатского метро по Поварской. Минуете по левой стороне здание Суда и окажетесь перед памятником Бунину, а за его спиной, его осеняя, высится роскошный вяз, помнящий, как написано на табличке, пожар 1812 года, его пощадивший, помнящий тех, кто тут жил — и составил и продолжил великую русскую культуру. «Дизайнеры» работают по ночам. За ночь срезали деревья Сквородки — повадка воровская, известная. Московские опростоволосились — пришли днём, но замешкались, и десяток арбатских стариков и старух оцепил своё дерево, взявшись за руки. Этот караул сменялся, пока не последовала команда: отставить. Вяз был спасён. Живут вязы в среднем четырёхста лет.

Готовая композиция: оборона дерева хилыми стариками от сыто-пьяных парней с пилами. Добавь им куража, и кто-нибудь из этих наёмников скосит старушку-другую, чтобы свалить без помех этого 270-летнего свидетеля истории русской.

Написал я это год назад. А нынешней весной узнал: ему не дали дожить 130 лет мудрости. Стоял он в середине сквера, далеко от тротуара. Медэкспертизы не было. Сработала жалкая перестраховка. Бессудная расправа — наш обычный «биллотень».

## ЭТАП

Колченогие берёзки —  
доходяги, недорезки —  
ход понурый и кривой  
кромкою береговой.

По-над мысом для порядку  
им велят плясать вприсядку,  
подбодря матерком,  
скатываться кувырком.

Из последнего терпенья  
еле тащится этап,  
на лишайниковой пене  
оставляя алый крап.

В Зимний берег волны бьют,  
и последние берёзки,  
переломаны и плоски,  
вжались в грунт и не встают.

*Соловки, мыс Колгуев*



## БЕЛЫЙ СВЕТ

В полутёмном кабинете  
конопатый потолок,  
не берёт его побелка:  
мел воруют, белят мелко,  
скуден свет и низколоб.  
Ванька-Каин на паркете —  
ворошиловский стрелок.  
Вон и красный уголок,  
там и брызги в потолок,  
там не дерево, а кафель...  
Он учёный, Ванька-Каин,  
он уважит и усадит,  
по волосикам погладит,  
для начала вырвет клочок...  
Ходит мягко, смотрит глухо,  
призасунул пятерню.  
Ну-ка я тебя, Ванюха,  
к той картине применю:  
под фуражкой человечек,  
он закутанный во френчик,  
он со спрятанной рукой —  
знать не знаем, кто такой.  
Он плывёт в дубовой раме  
в полумраке над столом...  
Поделом — над всеми нами,  
вахлаками, — поделом!  
Как я Ваньку обелю?  
Как я губы разлеплю?  
Где я зубы соберу?  
Я забылся в кабинете,  
пробудился на рассвете  
над оврагом на юру,  
во берёзовом бору...  
И кидают нас в известку —

кто убит, кто недобит, —  
всех дотла сожжёт карбид,  
выбелит мою берёзку.  
Тонкий выступит мелок.  
Заровняют братский лог.  
Были косточки — и нет.  
Только в роще белый свет,  
только слабое сиянье  
возле каждого ствола  
вам напомнит, россияне,  
про великие дела.



Лет десять назад приехав впервые в Кологрив, в парке я увидел камень в память жертвам сталинских репрессий. Кострома, увы, чтит память тех, КТО репрессировал — отнюдь не тех, КОГО ссылали, мучили, убивали...

Трудно жить в городе под чугунной десницей Ленина и терпеть Свердлова, вдохновителя красного террора, стоящего в Козьем парке, ходить по улице его имени мимо расстрельного подвала. Такой подвал был в доме Ипатьева в Свердловске, и сам Свердлов — а никакой не Юровский — расстрелял царя, его жену и детей. И ДЕТЕЙ. Обратная перспектива тут уместна: исполнитель приказа отдаляется — отдающий приказ лично стреляет в мальчика, в его сестёр, в его родителей. Но: В МАЛЬЧИКА...

Притча: семейный альбом Гитлера, выстрел в фотографию 41-го года, в портрет 33-го года, 21-го. Выстрелы в совсем ещё молодого, но уже опасного человека — и... в ребёнка не стреляют. Если верить главному идеологу перестройки Александру Яковлеву, Ворошилов предлагал отстреливать 9-летних социально опасных. Сошлись на 12-летних (Указ

ЦИК-СНК от 7 апреля 1935 года). Воображаю прения в Совете Народных Комиссаров о возрасте под Высшую меру. И что сказала Н.К. Крупская, зав. детским сектором? На Крупскую воображения не хватает.

На кологривском камне была бронзовая табличка, шпана её сдёрнула. Теперь — спасибо Людмиле Сергеевне Большаковой — табличка целлулоидная, целлулоид не сдашь во Вторцветмет.

## ЧЁРНОЕ ОЗЕРО

Лесное озеро черно.

Вода в нём чистая и жуткая,  
и кромка торфяная чуткая  
бежит по берегу, и дно

уходит глубоко под берег.

Он зыблется, плывёт, висит.

Чем тоньше он, тем мягче стелет.

Берёзка слабая стоит  
и клонится, прошив торфяник,

кореньями. А где ж земля?

И сохнет деревце, и вянет,  
нужды своей не утоля.

Пойдёшь за клюквой, за брусникою  
да в озеро уткнёшь глаза.

А долго, слышь, глядеть нельзя  
в такую воду дикую.

А озеро черным-черно.

Свершится смертная работа:

обволоknёт его болото,  
сомкнёт над ним второе дно.

И, ни жива и ни мертва,  
вода застынет каплей чёрной,  
пока ей не протянет корни  
разрыв-трава.

\* \* \*

Резко пахнет давленная хвоя.  
Под ногой пружинистый сугроб.  
Место боровое, моховое.  
Лесоруба кроет лесороб:

— Здесь тебе деляну дали — или  
там твоя деляна, в душу мать? —  
Что орать? В «жестянке» полбутыли,  
ну чего комедию ломать?

Содрогался бор моторным рыком,  
оглашался бор притворным криком,  
а теперь, с беседой вполпьяна,  
все ушли. Настала тишина.

Небо разгорается над бором.  
Дятел отдолбил и спит в трухе.  
В ёлке хохлится и дремлет ворон.  
Дремлют звуки — шепчутся в стихе.

## ДЛИТСЯ СВЕТ

В снегу оставили хлысты  
багровый колеистый след.  
По полю искры и холсты:

февраль, вечерний долгий свет  
брусничный над глухим леском...  
Зубастым лучиком-лучком  
разделали одну лесину,  
кололи мёрзлую осину.  
Язык ворсинкой уколи,  
свет остывающий продли...  
Стволы и спины цвета хаки:  
— ИИ-ХАК! — прислушайся —  
— ИИ-ХАК! ИИИ...  
Потом добрались до сосны,  
потом нагрелись колуны,  
потом солдатики разделись,  
похорошели, разорделись.  
Пока сквозит и длится свет,  
скажу мальчишке — удивится:  
— Сладка сосновая живица!  
— Тебе виднее, — скажет, — дед...

## ОСИНОВЫЕ СЛЁЗЫ

*Владимиру Сошину*

Синеет рассвет, и бумага чуть брезжит. Пятно  
затем превращается в косоугольный квадрат —  
с него начинается свет. Просыпаюсь и рад,  
что именно так. На бумаге словечко одно

ночное, пустое спросонок, словечко-дичок.  
Причина его непонятна, и место в печи.  
Сожги его впрок или так лишний раз промолчи.  
Огонь всё живей сквозь поленья ручьями течёт.

Берёза кипит; ель стреляет; осина — она,  
осинушка, белыми-белыми плачет слезьми.



В огонь, позабывшись, глядим, как, бывало, детьми...  
Меж красных углей — искросахарная белизна.

Кричащие краски полдневных далёких чудес —  
те маки и розы, а если вблизи цветника  
гранат зацветёт — сила алого так велика,  
что меркнет огонь... Чуть прихваченный холодом лес

зарделся с вершинок: осина цветёт в сентябре  
вчерашнею кровью и нежною плотью ствола,  
где отсветы все и оттенки она собрала,  
какие сегодня у неба о ранней заре.

Древесный — осиновый — северный — это не цвет,  
но свет: он целебен. Он мненье молвы опроверг  
о серости цвета. Пред ним и гранат бы померк.  
Когда я его опишу — то-то буду поэт!

Бросает его в белизну: набережный плавник  
вконец выцветает, но дочерна тёмн испод;  
на главке церковной — серебряный с прочерною, тот,  
которым святят небеса. Я его ученик.

Нелишне сказать, что соловецкий реставратор, историк и теоретик этого дела Владимир Васильевич Сошин обиходил весь Кремль Большого острова, много сделал на Анзере. Выправил моего младшего сына, начинавшего наркомана, — спас мальчика, быть может, от смерти в московском подвале. В Митиной школе сбившихся в банду курильщики и «менеджеры» чёрного дела убили пятерых учеников за неуплату положенных взносов.

Из московского подвала — на крышу Анзерского скита, на анзерскую Голгофу — поднимать Христопраспясский храм вместе со студентами МГУ, МИФИ. Это лечит. А Кологрив

болен отсутствием благородного труда для школьников, если не считать летней работы в поле. Но поле скудеет, уменьшаясь, подобно шагреневой коже. И с упразднением техникумов ребятам податься некуда — только НА ГОРОДА.



## МАРТ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ,

весёлый марток.

Следи по-над настом струение света  
да передохни: прошибает поток,  
снутри подпекает — не надо и лета —  
тепло от залатанных ватных порток,

а то от чего же?

Струющийся свет  
ложится смерзающей синевою  
в тени от постройки.

Но как ты одет,  
нелишне сказать, не последний предмет,  
да шапку надень, не остынь головою.

Галоши, натянутые на пимы —  
клеёные-красные. Ихние рыла  
как рыла соминые, только сомы  
усато-черны — и бульдожии брыла.

Порты.

Осоюжены кожей порты.

Порты всероссийского кроя и цвета.

Садись хоть в костёр — не поймёшь теплоты

залатанным задом — ниже мерзлоты —  
хоть наста, хоть каменной этой плиты,  
да я говорю,  
мол, не надо и лета...

Ну, ватник, ну свитер.  
Ну, свитер — статья  
своя... Чей крючок, чьи там слёзы и ахи...  
Как стих, грубошёрстна кольчуга моя  
и столь же вынослива, как амфибрахий.

К полудню — без ватника, весь налегке...  
Топорик своей неизменной улыбкой  
поблёскивает и лежит на пеньке  
и зыблется чуть, потому что в р е к е —  
уж я говорил — кудреватой и зыбкой,  
по настам...  
И зимняя крепость в теньке.

Дробится с утра, а заполдень бревно  
податливо, врубчиво...  
Рубишь как репу.  
Зато не поёт уже так, как должно.  
Повыберешь паз и с у х а р ь для укрепу.

Но — в сторону, ладно, щепу-канитель!  
Зачем эта плоть так бела и красива?  
Затем, что она —  
РЕЗОНАНСНАЯ ЕЛЬ,  
что белым песком вспоена древесина.

Те нейские сахарные пески  
так шёлковы, так ослепительно белы,  
что их укрывают и кутают мхи  
от лишнего света —  
так я на Тебе бы

всё сбитое-скомканное поправлял,  
от первых лучей наготу укрывая...

Да-да... Музыкальный такой матерьял...  
Его изначальная плоть стволовая...  
О чём это...

Струноподобная ель  
не преобразится уже, безусловно,  
ни в скрипку легчайшую, ни в вьолончель...  
Что ж будет?  
— НАДКЛАДЯЗНАЯ ЧАСОВНЯ.



## РАКИТА

В откос правобережный,  
в упрямый косогор  
заречный ветер свежий  
с разгона бьёт в упор.

В упор ему кренится  
и дерево — идёт...  
Отчаянно искрится  
серебряный испод.

Кренясь, идёт к обрыву  
по красному хрящу.  
За эту душу живу  
как лист я трепещу.

Вся жертвенно раскрыта...  
И в небо — в честь Твою —  
Твоя взлетит ракета  
оттуда, где стою.

Ей просто невозможно  
по осыпи сползти.  
Мне страшно, мне тревожно.  
Но я с Тобой. Лети...



*с. Бахмут*

## ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ХРЯЩ

Жара. Сады занемогли.  
Дышать! Земля раскрыла соты  
и трещины в разводах соли,  
где слёзы майские текли.

Правобережный хрящ высок.  
Над пропастью ковыль белёсый.  
Хрустальный раскалённый восток  
дрожит над кромкою откоса.

Ей вровень ястребок парит  
в широкой раковине ската.  
Простор за Волгой говорит,  
что здесь я был... давно когда-то.

Вот осокорь, седой, как пшат.  
Ручья иссохшее изложье.  
Валун в сухое русло вжат —  
как я в мой бред — десницей Божьей.

Едва качаясь и скользя,  
мой ястребок стоит на взмыве...  
Ну что ж... Я знаю, что НЕЛЬЗЯ  
ТАК ЖИТЬ, КАК НАДО: НА ОБРЫВЕ.

*с. Бахмут*

# ПУШКИНСКОЕ ДАВЫДКОВО

*Александру Бурлуцкому,  
подвижнику широкого профиля*

Вся домна зиждется на пне.  
Покоится же пень кессона  
на праморском гравийном дне  
незыблемо и безусловно.

Геолог скажет, сколько тут  
миллионов лет по вертикали.  
Сегодня домны не растут...  
Я не к тому, что мы пахали,

а больше, собственно, к тому,  
что и сегодня тоже пашем —  
и я зимую в терему,  
где печь сложил как ЭЙНШЕНТ РАШН.

Под скрип гусяного пера  
туманным взором скат объемлю...  
Мой пень поменьше: полтора  
на полтора и два под землю.

Печной фундаментальный пень  
закладывается из бута.  
Художественная работа:  
сложить двухъярусную печь  
в два полных этажа, притом  
с лежанкой детской на втором!

Когда-то были печники...  
Мне попадались черепки  
Екатерининского века.  
Раскоп — моя библиотека.

Фигурный динас, изразцы,  
глазурь голубизны небесной,  
фаянс певучий... Кто ты, рцы,  
печной ваятель, гений местный?

Здесь Пушкин, хоть не Александр  
Сергеевич, а Юрий Львович,  
глядел с лежанки в зимний сад —  
как я, безродный Леонович\*,

гляжу, и не сулит конца  
благое дело созерца-  
ния дерев — им лет под триста —  
могучих лип полукольца.

Морозно, радужно, искристо.  
Где огорода голый скат,  
воображаю белый сад  
сто лет вперёд или назад,  
экскурсовода и туристов.



Январский полукруг зари  
мне шлёт сквозь ельник тонкий лучик.  
В пушистых ветках снегири,  
как личики Бурлуцких внучек.

Дед бородат и синеглаз.  
За ним — Урал, Кубань, Кавказ,  
полярный Врангель — полстраны  
обжиты им. ИМ СПАСЕНЫ —  
так я свидетельствую в вышних  
без объяснений, делу лишним —

**БУРЛУЦКИМ ЛИЧНО СПАСЕНЫ  
ОТ ВЛАСТНОЙ ВРЕМЕННОЙ ШПАНЫ**

---

\* Не совсем так: мои прабабки по отцу — Янцевич и Мицкевич.

## ЛЕСА И ВОДЫ, ПТИЦА И ЗВЕРЬЁ, НА НЁМ СТОИТ ОТЕЧЕСТВО МОЁ.

Заботника и знатока земли  
не подстрелили, не сожгли,  
и ни потравы, ни покражи  
не знал его глухой кордон,  
зане СПАСАЮЩИЙ — СПАСЁН.

Его не посадили даже!  
Не встретил на тропе варнак.  
Жив праведник! — такое диво  
в стране родной боголюбивой,  
но плотоядной... Добрый знак!

Стареют липы. Нижний сук,  
как старика забывший внук,  
живёт отдельно, на отшибе  
от опустелого ствола.  
Вся жизнь в него перетекла,  
а смерть живёт в сухой вершине.

А эта липа — сколько лет  
устремлена на зимний свет?  
Упрямо по диагонали  
кренясь, как будто на бегу, —  
как лошадь в цирковом кругу,  
куда бичом её загнали.

Кольцом аллеи стеснена,  
упрямая — живёт навывлет.  
Зима проходит... Где Она?  
И нет, и нет... Меня осилит  
разлука.  
На дворе весна.  
Апреля первая капель  
и тайный и беспрекословный



запрет: на выстрел, на дуэль...  
И что же будет? Будет сломанный

косой перестоялый ствол?  
И мой четвероногий стол,  
как пёс больной, меня покинет,  
когда Она мне сердце вынет?

И всё? Как, всё? Что делать нам?..  
Мне — в том запрете — мять лежанку,  
угадывать по временам  
пейзажа зимнего изнанку.

Изнанка Солнца — тьма и тьма —  
*не дай мне Бог сойти с ума...*

Придёт июнь, число шестое,  
и забурлит и запестрит  
твоё Бурлуцкое застолье.  
Нам Пушкин тьму заговорит.

За Пушкина мы выпьем стоя.  
С ним хорошо нам на земле.  
Ты видел деву на скале?  
Вот то-то! Прочее — пустое.

Рад, что удалось написать о Бурлуцком. Под статью ему и его Тоня, которой в тексте нет, но без неё нет, то есть не было бы, такой замечательной судьбы, которая оказалась построенной этой парой. После Врангеля, если не ошибаюсь, эта судьба ПРИВОДИЛА его к нам в Кологрив, где только-только намечался заповедник и директором его стал бы Александр Михайлович Бурлуцкий. Как-то не сложилось, не повезло нам. При Бурлуцком не случилось бы убийства того лесного человека. А не случилось Бур-

луцкого, скорей всего, потому, что не посулил он где надо и кому надо «царской» охоты.

\* \* \*

Работа разрывов, разлуки труды  
вздирают коростовый слой до руды.

Где бор золотой? Где сиротский колок?  
Прошла борозда борозды поперёк.

Надрался и скалится крюк-шпалодёр,  
чей дьявольски изобретатель мудёр.

И гибнет и дышит последней листвою  
повал поперечный, повал долевою...

За рваным туманом — косые кресты  
с отлётной, ненастной моей высоты.

\* \* \*

Дожди всё лето. Напитался лес.  
Всю осень льёт и льёт — невмоготу!  
А тут мороз — пальба рвёт бересту:  
по нежной глади молнийный надрез.

Кружится, замедляя ток, шуга,  
сужая забереги-берега.  
На синий лёд садятся мотыльки  
дыханья остывающей реки.

Следи на ползновение шуги  
на лезвиеобразные края.  
Сейчас проломают лёд твои шаги.  
Всё тоньше кожа, ближе кровь твоя.

На миг ослепни в солнечном снопе,  
что бьёт сквозь иней веток и стволов,  
весь в радуге — на миг ясна тебе  
алмазная основа всех основ.

\* \* \*

Давнею бурею снесена,  
ветви подламывая постепенно,  
мачтовая островная сосна  
тонет во мшарнике розовопенном.

Дыбится крона, капризно вяясь,  
освобождаясь от позолоты,  
тенью и памятью становясь,  
мякотью и благодатью болота.

Вся кривизна, вся прямота  
безукоризненно перевита  
тонкой резьбою.  
Станут во благо  
тяга и гнёт —  
вспомнишь, когда и тебя захлестнёт  
розовое, голубое...

\* \* \*

Сквозь дождь и дерево нагое  
свет фонаря едва прошёл —  
как ломкой золотой дугою  
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зренье  
подобную имеет власть:  
вся жизнь вокруг стихотворенья  
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою  
и жизнь кругом — и вся она,  
и каждая черта — любовью  
осмыслена, озарена.

## ТРЕЗВЫЙ ПЕРСТ

Что поделать, если кровно  
мне покоя не дают  
эти катища, где брёвна  
в два обхватища — гниют?  
Кой-то леший обо-хватит  
краснокорый комель-ствол —  
катит-катит да и хватит —  
и покинул, и пошёл...  
Ой ты, рохля! Ой тетеря!  
Обернётся-поглядит:  
дескать, э т о ли потеря?  
И направит: — Да иди т... —  
Винтик, что ль, какой немецкий  
в голове моей мозжит?  
А народ мой молодецкий  
о пропажах не тужит.  
Жил я был у лесорубов,  
как покинул города, —  
нагляделся, Добролюбов,  
подвесная борода.  
На великих самых стройках  
и в затерянных местах  
пожил — видел — знаю — ой как!  
Тошно — совестно — вот так...  
Так — печальник и ходатай,  
русский немец-эконом,  
Добролюбов бородатый —  
трезвый перст  
в пиру честном.



\* \* \*

Не одна тут намокла спина,  
и пила не одна порадела —  
для какого-то хитрого дела  
роща мачтовая сведена.

Кто и дальше стволы напаял?  
Посредине измятой красы той  
всею кровью живой и несытой,  
всей душою моей застонал.

Краснобура, тепла, смоляна,  
понимаешь ли стон обречённый,  
возле самых зубов пресечённый?  
Понимает и плачет она.

Кислотою протравлен нарез  
по сосне, добела окорённой.  
Дело мёртвое. Труд подъяремный.  
Молодой обескровленный лес.

\* \* \*

Наука травит лес,  
всех неучей дивуя,  
и яд летит с небес  
на часть неделовую.

Смекай, мужик: враги  
в лесу — листва и хвоя,  
и — всё неделовое,  
жить больше не моги!

Ольха обожжена,  
берёза побурела,

вся живность присмирела  
и стала нежива.

И ясно мне как день:  
спасает нас не чудо,  
а недосуг и лень  
внедрять идею чью-то

до самого конца,  
до полного абсурда —  
когда вползает судно  
на отмель солонца.

Апрельский канет флот  
в песчаную пучину,  
и тут конец придёт  
великому почину.



Замысел облагораживания лесов с помощью арборицидов — замысел прямо фашистский. Писались диссертации, выходили брошюрки для доверчивых дураков. Но если лётчик был умён, он не распылял над лесом то, что надо было бы распылять над Академией наук, а мешки с ядом сбрасывал где-нибудь неразвязанными. В Карелии мне попадались лесные закутки с этим зельем, вытряхнутым из мешков. За Илешевом, чуть выше по Унже, отвал какой-то дряни желтеет над самой водой. Трава, уж как ни старается, расти тут не может.

Судьба Аральского бывшего моря, состояние Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, в него впадавших, судьба каракалпаков, по всей видимости, никого не волнует. Она волнует цензуру: беда, если недобдит и пропустит аральский сюжет.

Я не видел того, как отступает море. Я помню:

Море уходит вспять.

Море уходит спать.

Оттрудилось, отшумело. Откормило рыбу, покинув нерестилища, отвадило птицу, обезводив плавни. Верховья обеих рек обезвожены системой орошения, тоже уходящей в песок, но успевающей смывать пестициды. В материнском молоке каракалпачек обнаружена эта дрянь. Ею дышат и дети — на хлопковых полях. Дети покрывают дефицит взрослой рабочей силы, находящей заработок на стороне. Сейчас Аму-Дарья, разобранная по дороге на Арал, его вообще не достигает, как свидетельствует Большой энциклопедический словарь 2002 года. Новоаральские солонцы, образованные отступившим морем, обильно засоляют огромный окрестный ареал. Соляные бури...

Ловлю себя на том, что как бы разговариваю с Михаилом Сергеевичем Шаровым, чьи заметки и стихи о природе — о реке и лесах, об отношении к ним — отличаются трезвостью и бесстрашием. ЕСТЬ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ, если печатать такие вещи негде. Районная газетка подверглась оптимизации — лишилась редактора и одного из двух ведущих сотрудников. Костромской Департамент печати проявил чуткость и от ЛИШНИХ МОЗГОВ (см. выше) «Кологривский край» освободил. «ПЛЮС ДЕБИЛИЗАЦИЯ» на основе рептилизации — требование времени. Судьба Арала и судьба кологривских лесов в принципе схожи. Обмеление Унжи прямо указывает на оскудение лесов... Но что делать подсоченным лет сорок назад и полумёртвым сегодня приречным борам? И тогда нельзя было касаться резаком недоспелого приречного сосняка — и сегодня нельзя: закон не велит. Сработает, увы, то, что сильнее закона и зовётся

**ЧИСТОГАНОМ.** У Даля, опять-таки, того значения у того слова нет, не ищите: «практика беззакония в государстве тоталитарного типа», пресловутая «коррупция», приумножая которую, борются с нею коррупционеры.

**ПЕРЕВЯЗЬ...** Надо связать начало с концом. Надо тяжёлой листовничной злобой дня не перегрузить и не утопить плот. Надо неустанно внушать оптимизаторам жизни и мысли, то есть **ДЕБИЛИЗАТОРАМ** всякого рода, что без должного балласта корабли не плавают. Что канон сиротеет без родного ему апокрифа. Что без праведника, который слывет юридивым, село не стоит. Селу повезло: здесь жил долго и умер своей смертью Ефим Честняков. К нему и сейчас приходят на могилу.

**ПЕРЕВЯЗЬ...** Я подставил шею под шёлковую голубую ленту с золотыми буквами **ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ГОДА 2013**, разумея, что надеваю хомут. То есть, его я и не снимал, но такого праздничного на своей шее не ожидал. Когда-то напечатать стихи в районной газете Пудожа было мне завиднее и новомировской публикации. Журнальная публикация спускается в народ — районная из народа поднимается. От кологривской чести я не мог и не хотел отказаться, как в своё время отказывался от разных столичных престижностей. С лентой поперёк с праздничной эстрады я и читал «хомутные» стихи.

\* \* \*

Вещей священный распорядок  
в житейский хаос превращён.  
Мой век земной обидно краток,  
но властью долга облечён.  
Она неявна и неизвестна,  
в заботах малых без конца...



Но. ставить надлежит. на место.  
стол. стул. лжеца и наглеца. —  
незамедлительно и прямо, —  
так действует пружинный спуск,  
так выгонял менял из храма —  
под зад коленом — Иисус,  
лотки с товаром богомерзким  
круша и повергая в грязь,  
на греческом и арамейском  
победоносно матерясь!

Грузинскую ТАВИСУПЛЕБА, греческие ЭЛЛЕФЕРИЯ и АНАНКЕ — свобода, свобода, проклятье — зёрнышками бросал я в наши пески. С греческим и арамейским матом помешкаю до случая. Но не упускал случая облагородить русский матюг, употребляя его в единственно возможном праведном звучании. Это редкие случайности, увы. Подлый эвфемизм «блин» наводит на грустные мысли о словаре дворни. Столь же печально «как бы» через каждое почти слово, та же холопская робость называть вещи своими именами — или неспособность эти вещи понять.

ПЕРЕВЯЗЬ мраморная, поперёк и наискосок материнской груди. На руках, то есть на коленях Богородицы — тело мёртвого Сына, и при чём тут, казалось бы, врезанное во мрамор имя ваятеля, да ещё так глубоко врезанное, да такое длинное: Микеланджело Буонарроти.

До сих пор невероятно: по младости — ему 22 года, по дерзости ли, именуемой наглостью в людских пересудах и гордыней у клириков. Ничего подобного в России не бывало, смиренный богомаз часто вообще от имени своего отрекался или ставил инициалы на обратной стороне доски. А тут...

И вижу вдруг и потрясённо,  
как молода ещё Мадонна,  
та, с мёртвым Сыном — ей же ей,  
Он СТАРШЕ матери своей!  
Какое дивное значенье  
глядит отсюда... Где мученье? —  
Улыбка лёгкая и свет —  
Ея лицо, Ея завет  
и мраморное облаченье.  
И между слабеньких грудей,  
на ПЕРЕВЯЗИ между ними,  
вятеля почитет имя,  
счастливейшего из людей.

Право гения — расписаться где хочет. Беру с прилавка в магазине «Берёзка», что на ул. Некрасова, — что бы вы думали? — репродукцию иконы «Умиление» (XVI век) и читаю слова Богоматери: «Мир вашему дому». Протираю глаза и перечитываю подпись костромского чиновника, заработавшего в миру кличку Бульдозер. Быть тебе губернатором, думаю, если пиаришься на иконах. Тоже ведь гений — гений наглости. Магазинам, библиотекам, конторам, городам, городкам и сёлам — отличного качества репродукция... Милый город, чем тебя кормят! Снял бы с витрины, где быть бы журналам и книгам, рекламу продлённого секса, столь недорогую, сколь непотребную, сжёг бы по листочку, не выходя из магазина, пока топится печь, но удовольствие не по карману.

## ПЕЙЗАЖ С ОБГЛОДАННЫМ ПЕНЬКОМ

Нужна лесхозу шишка —  
и свалена сосна,  
которую мальчишка  
сгубил на семена.



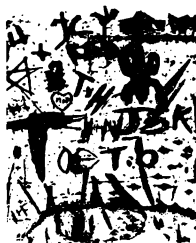
Как пионер старался,  
сужу по виду пня:  
до сердца добирался,  
наверное, полдня...  
И скушно, и досадно.  
Но хорошо, когда  
достаточно наглядна  
бесмысленность труда.  
А там совет отряда  
и барабанный бой,  
«всегда готов», «так надо»  
и головная боль.

Стою среди пейзажа  
с обглоданным пеньком.  
Некрасовская Саша  
не плачет ни о ком.  
Лежит старик Некрасов,  
и немощен и слаб,  
уныл и одноразов,  
как пройденный этап.  
Для воспитанья духа  
в худые времена  
селу нужна *видуха* —  
и шлёт её казна...

Но я ещё к вопросу  
о срубленной сосне,  
чьи семена лесхозу  
понадобятся *не*.  
На рапортчику нашу  
плевали в районо.  
И я ещё про Сашу,  
про Сашку в секс-порно.  
Сидит она, голуба,  
и глазом не моргнёт —

ломает двери клуба  
звереющий народ...

Казна давала пенки,  
но это коленкор  
другой — пишу Губенке\*  
как мыслящий селькор.  
Поплатится натурой  
за непотребный мрак  
не тронутый культурой  
российский молодняк.  
И вот какая тонкость  
какой иглой блестит:  
сперва убили совесть,  
теперь изводят стыд —  
вот замысел программный...  
За стыд, за совесть — на  
кусок свободы срамной,  
несчастливая страна!



\* \* \*

И ветвь оставила сучок,  
своё прямое продолженье,  
и вкось продолжила движенье.  
Образовался тупичок.

Сюда не попадает сок,  
избравший непрямое русло.  
Сучок отсох — мне очень грустно,  
что он так строен и высок.

Какис силы изгибают  
стволы, ломают ход ветвей,

---

\* Тогдашнему министру культуры.

что даже соки избегают  
коротких и простых путей?

Какой идее крона служит,  
когда, не зная топора,  
так расточительно щедра,  
она свои же ветви сушит?

Мы смотрим на дерево. На спиле, на расщепе, на «выглаженной» хорошим инструментом поверхности стараемся уследить, как бы нырнуть вместе с линией, обозначающей зимнюю плотность этой плоти, — нырнуть в её глубину. В сущности, лишь малая толика красоты нам доступна, лишь её внешность. Выше сказано: всю красоту,

чудесно сжатую — до взрыва —  
освободить из бави Бог  
и волокнистого наплыва  
распутать, размотать клубок.

Нам поэтому милее художественные недоделки, нас восхищают пушкинские исчезновения текста, а кого-то и соблазняют: Брюсова — продолжить и «засветить» мрак «Египетских ночей», Ходасевича — плавно, под пушкинский каданс, оскользнуть с высоты, где *ходит Вечер золотой*, — на гладь лагуны с гондолой, юной догарессой и старым дожем, Андриюшу Чернова — сочинить 10-ю главу «Онегина» и т.д.

На сосновом стволике пять-шесть сучков одного уровня годятся, чтобы вырезать кухонную мутовку. Но сосненок вырос, сучки окрепли, и я воображаю: мастер огранил этот сутунок — и три пары глаз широко — шире нельзя — взглянули наружу, на свет...

Мы смотрим на дерево — ОНО НА НАС.

Рушатся старые городские кварталы. Озабоченный человек с пилой и топориком обстукивает брёвна, не одну сотню лет сохшие в срубе. Чего он хочет? Он хочет УСЛЫШАТЬ звук будущей скрипки, он мастер.

\* \* \*

Который насос производит откачку, движением лапок похож на собачку. Старательно воду земную сосёт система земных понижения вод.

Квартал деревянный неслышно осадит, подземную речку отсюда отведит, кругом наведёт сокровенную сушь — гони экскаватор и домики рушь.

Бестрепетны лица румяных рабочих, огонь безучастен, и ковш неразборчив, под грудю хлама сопит самосвал — я всё это знал и по имени звал.

Я поднял и вынес оттуда не много — истёртую доску чужого порога — раскосые выпуклые сучки, тройные подглазья, сухие зрачки.



Иконный взгляд. И своего взгляда от этого, тысячами ступней вышарканного, отводить не надо. Надо постараться понять его пристальность, сродни пристальности Спасова взора. Спасай тебя Господь — хотя должен бы осудить и предать суду и расправе. Гневается — но ЕЩЁ спасает.

**ПЕРЕВЯЗЬ...** Кологрив — гусиная столица. День гуся — день ребёнка: в ребёнка хоть на день, хоть на час превращается взрослый. Немало городов я повидал — наш город, откуда родом моя бабка Александра Андреевна Боголюбская, — город **МЯГКИЙ**. (О жёсткости мегаполиса нет настроения писать — сюда она проникает бесчеловечностью бюрократических установок, изобретаемых нелюдью. Для неё все мы — потенциальные невежды, дураки, преступники, мелкое и крупное жульё и вообще контингент, коему место в резервации, за частоколом *ихнего* регламента. *Ихние* инструкции пухнут, как щёки и животы, — на беду низовым исполнителям. Бедные, они то плачут, то засыпают, не в силах постигнуть господской воли.)



Тысячи перелётных гусей на пойменном правом берегу. Инструкции «не стрелять» сверху не прислано, и слава Богу — не обижены горожане, не заподозрены.

Уличные собаки не боятся ни пинков, ни гицелей. И в стаи собак-мстителей не сбиваются. Растянется пёс поперёк дороги — его и обойдут и объедут.

В Илешеве, вижу, отъехал городской автобус, но как бы задумался, остановился и пятится: шофёр забыл, что обещал старушке её дожидаться, — ушла проведать могилу, а теперь бежит за автобусом, да нет, уже навстречу ему.

Набрал в магазине мешок того-сего, спасибо, до свиданья, а продавщица мне: «Натрёшь плечо!» И верно, мешок здоровый, а ляжка острая и всегда на одном правом плече.

Семилетняя Машка идёт распахнутая, и встречные женщины то мне замечают, что продует ребёнка, то наклоняются застегнуть змейку, а змейка не застёгивается...

В магазине в Париже вам непременно и очаровательно улыбнутся — здесь тоже улыбаются, но не так, и коли в Париже ты вдруг окажешься с мешком, не беспокоятся, что лямка врежется, и в долг, если без денег сегодня, хлеба тебе не дадут. На Вохомском большаке сорок лет назад часто машина, тебя обогнав, останавливалась: подвезти? Не знаю, как там сейчас, но здесь ещё останавливаются. Доброта красит, и, глядя на лица людей, видишь: красивый город.

Но красота какая-то прощальная. Пожилая учительница в своё время простилась с родной сельской школой, а до того — с родной деревней. Ни деревни той, ни села в живых нет. Доживая в городке, свою молодость, своих учеников она помнит, и с каждым годом всё ярче, припоминая как бы совсем уж позабытое. И улыбка не сходит с лица, и вдруг какие-то строки слагаются сами по себе, и надо выговориться, ПОДЫШАТЬ надо.

Собирается книжка. К сборнику кологривских поэтов само собой, строкой Сергея Наровчатова, приходит заглавие: СВЕТЕ МОЙ БЕЗМЕРНЫЙ. Это обращение к родине, к поруганной выжженной земле 41-го года.

Россия, мати, свете мой безмерный,  
которой мезтью мстить мне за тебя?

Пафос неспразднй... И на здешних землях будто побывал оккупант. И больно за них, как тогда, — стихи Михаила Шарова, Бориса Дроздова, Тамары Огородниковой, Николая Чумичёва.



## ПЕЛУС-ОЗЕРО

Просторно, пустынно, и здесь ты крылат.  
Поднявшись легко над излучкой озёрной,  
мысок оплывём и окажемся над  
лавиною ветхой, над баенкой чёрной...  
Ноябрь. Светает с трудом. Поглядим,  
не выбьется ли где-нито над избою  
дымок? Но по осени край нелюдим.  
Дома заколочены. Белой крупую  
помечены ямины и колеи.  
По заберегам — как разводы агата...

Вы где, старики, где старушки мои?

Чернеется лодочка продолговато.  
Десяток домов на мысу коренном,  
один с развалюхой — в моём заозерье.  
Дворина — квадратом, колодец — пятном...  
Печальное было у вас новоселье.  
На двух берегах мал-не сотня дворов,  
хозяева коих за лахту ушлыли  
в лодейках еловых под полог и кров.  
А кто убежал, а кого уводили.  
От Бога ли срок, от людей ли указ.  
Снежок, замети, забели мою горсть!

Осиновым белым огнём распаясь,  
сквозят облака. Через хвойную прорезь  
вот-вот проблеснёт... Там церковка была,  
где старый погост, бугорки, — и стояла  
там роца еловая — вся полегла,  
как церковь спалили. Такого повала,  
как помнят старухи, ещё не бывало.  
По тихой погоде настало темно,

был крутень страшимый — и всё сметено,  
всё смерчем повыворочено наизнанку,  
иные могилы... Как церковь снесли...  
И день-то был тихий,  
и спать уж легли,  
а встали — себя не узнать спозаранку.  
И только икону одну и спасли  
от Божьего гнева. — Баб Лиза, не ты ли  
спасла-то? — И Лиза отвечает: — Но!  
Твоё корбозерское тонь ни родно —  
как слышу — так счастлив, родная. Да вот  
не знаю твоих мелодических нот,  
И слышу — а записать не могу:  
— Погост нонь за лахтой  
на том берегу...

## НЕПРОЧТЁННЫЕ СТИХИ

*Яну Гольцману*

Что-то нам, худым и пришлым,  
непонятно объяснил  
Михаил Михалыч Пришвин:  
не гадал — а соблазнил.

Не сойдутся слово с делом:  
то мешает, то претит...  
Над прогалом поседелым  
мёртвый тетерев летит.

Почернелую дробинку  
вынимаешь из груди...  
Посади — по мне — рябинку,  
лиственницу посади.



Не твоя ли на угоре  
лиственница — как струна?  
Не моя ли в Белом море  
потоплённая страна?

В дебрях водорослей ржавых,  
в помавании ветвей —  
коль причастен *сонму правых*  
сотой долею своей?

## РОЩА

За душой как за дитём —  
глаз да глаз, весна тем боле...  
Истомилась на приколе —  
отойдёт своим путём.

Не страшится ничего:  
ЛИШНЕГО ПЕРЕТЕРПЕЛА.  
Роща — певчая капелла,  
май, природы торжество.

Роща, солнечный уют —  
как в раю! Как не бывает...  
Распевают. Отпевают.  
Никогда не отпоют.

## НА РОДИНЕ

Вся ты в яблочках  
как я в облаках —

искушения не осилю,  
мне до святости не домучиться.



Господа, хоронить Россию  
не получится.

Красоты ТАКОГО ЗАПАСА  
хватит на пять колен.

Мне до смертного часа  
этот плен.

Мне волос твоих грива —  
Золотая Орда.

МНЕ холмы Кологрива,  
а не вам, господа.

**ПЕРЕВЯЗЬ...** Где-то напротив деревни Акатово, чуть выше по реке, полузатянутый песком, виден на дне Унжи цельный нераспечатанный плот. К пейзажу речного дна, похожего на деревянную вымостку, глаз привык. Отдельные топляки, разнообразно и разноцветно обросшие тиной и мхом, зелёными русалочьими космами, облепленные ракушками, вросшие в берега или настилом покрывающие дно, разнообразят этот пейзаж.

Не станем тревожить плот — будущий экспонат и в чём-то символ времени с живой поверхностью и тёмной глубиной. Для таких символов и экспонатов музея ещё не построено. Словесный плот стихов и прозы, с грехом пополам перевязанный, материала больше не принимает.

\* \* \*

Плот пригнали, распустили,  
по воде — живая гать.  
На бревенчатом настиле  
никому не устоять.

Только бегом, только рысью,  
мельком клавиши топя, —  
будто ветром, будто мыслью —  
вмах перенесёт тебя!

Влёт — по запоздалым булям,  
по живинкам, по живулькам,  
по раскату, по ковру —  
брёвнышки переберу.

Книжку издать — распустить её на главки, на строчки — на авось. Авось кому-то что-то пригодится.

Автор вязал-перевязывал, распускал эту простоту, этот плот — как бы под взглядом того дерева, что досочкой легло на порог дома, готового на слом.

Бестрепетны лица румяных рабочих...

Дерево тебя видит. А что этот взгляд говорит, знаешь ты один.



# СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ПЕРЕВЯЗЬ. «Вяжи, началивай, плоти!...» . . . . . | 5  |
| «Во все концы дорога далека...» . . . . .        | 6  |
| Весна в Горной Шории . . . . .                   | 7  |
| «Через поле, через лес...» . . . . .             | 8  |
| «Я рисовал нехитрую картинку...» . . . . .       | 9  |
| О семи церквах . . . . .                         | 10 |
| Гороховецкие лагеря . . . . .                    | 11 |
| Начальник разведки артполка . . . . .            | 12 |
| Печать . . . . .                                 | 14 |
| «В последних числах февраля...» . . . . .        | 16 |
| «Всё я хочу написать...» . . . . .               | 17 |
| «Про наши дела и желанья...» . . . . .           | 18 |
| «Ты погляди, как ветви ели...» . . . . .         | 18 |
| «Он сучок сбивал топориком...» . . . . .         | 19 |
| «Тихо, важно...» . . . . .                       | 20 |
| «Тот живописец образцовый...» . . . . .          | 20 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. «Колхида...» . . . . .                 | 21 |
| «Кривое дерево реликтовых...» . . . . .          | 21 |
| «Была Гражданская война...» . . . . .            | 23 |
| Разделяя граниты . . . . .                       | 23 |
| Кипарисы . . . . .                               | 24 |
| «Одна черешенка стоит...» . . . . .              | 25 |
| Две матери . . . . .                             | 26 |
| Галактион . . . . .                              | 27 |
| «Вижу: давно идёте...» . . . . .                 | 29 |
| «Ветреной ночью платан шелестит...» . . . . .    | 29 |
| Тема . . . . .                                   | 30 |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
|           | «Были цветы и колосья...» . . . . .                                | 30 |
|           | «Работают корни спеша...» ( <i>Алио Мирицхулава</i> ) . . . . .    | 32 |
|           | Белое поле ( <i>Отар Чиладзе</i> ) . . . . .                       | 32 |
|           | Клён ( <i>Галактион Табидзе</i> ) . . . . .                        | 33 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Переписал эти стихи...» . . . . .                                 | 34 |
|           | Весною поздней . . . . .   | 36 |
|           | На камне . . . . .   | 36 |
|           | «Век живёт у оврага...» . . . . .                                  | 37 |
|           | Село Никола . . . . .  | 38 |
|           | «В Калязине душном шиповник цветёт...» . . . . .                   | 40 |
|           | «Служить садовником, и солнцем...» . . . . .                       | 40 |
|           | «Путь дальний — ближний не годится...» . . . . .                   | 41 |
|           | «Я вышел из унылой гари...» . . . . .                              | 41 |
|           | Вечер. Озеро . . . . .   | 42 |
|           | «...А лиственница хороша...» . . . . .                             | 43 |
|           | Твардовский . . . . .  | 44 |
|           | Акварель . . . . .   | 51 |
|           | Так и так . . . . .  | 51 |
|           | В сознании дремучих прав . . . . .                                 | 52 |
|           | После разговора с бабушкой Анной,<br>голос ещё в воздухе . . . . . | 54 |
|           | К Петровичу . . . . .  | 55 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Застой. А вернее, ЗАМОР...» . . . . .                             | 58 |
|           | Кологривский Леший . . . . .                                       | 61 |
|           | По правилам войны . . . . .  | 63 |
|           | «Была красавица — теперь уродка...» . . . . .                      | 64 |
|           | Этап . . . . .   | 66 |
|           | Белый свет . . . . .   | 67 |
|           | Чёрное озеро . . . . .   | 69 |
|           | «Резко пахнет давленная хвоя...» . . . . .                         | 70 |
|           | Длится свет . . . . .  | 70 |
|           | Осиновые слёзы . . . . .   | 71 |
|           | Март благословенный . . . . .                                      | 73 |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
|           | Ракита . . . . .                                | 75 |
|           | Правобережный хрящ . . . . .                    | 76 |
|           | Пушкинское Давыдково . . . . .                  | 77 |
|           | «Работа разрывов, разлуки труды...» . . . . .   | 81 |
|           | «Дожди всё лето. Напитался лес...» . . . . .    | 81 |
|           | «Давнею бурей снесена...» . . . . .             | 82 |
|           | «Сквозь дождь и дерево нагое...» . . . . .      | 82 |
|           | Трезвый перст . . . . .                         | 83 |
|           | «Не одна тут намочла спина...» . . . . .        | 84 |
|           | «Наука травит лес...» . . . . .                 | 84 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Надо связать начало с концом...» . . . . .     | 87 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Я подставил шею...» . . . . .                  | 87 |
|           | «Вещей священный распорядок...» . . . . .       | 87 |
|           | Пейзаж с обглоданным пеньком . . . . .          | 89 |
|           | «И ветвь оставила сучок...» . . . . .           | 91 |
|           | «Который насос производит откачку...» . . . . . | 93 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Кологрив — гусиная столица...» . . . . .       | 94 |
|           | Пелус-озеро . . . . .                           | 96 |
|           | Непрочтённые стихи . . . . .                    | 97 |
|           | Роща . . . . .                                  | 98 |
|           | На Родине . . . . .                             | 98 |
| ПЕРЕВЯЗЬ. | «Где-то напротив деревни Акатово...» . . . . .  | 99 |
|           | «Плот пригнали, распустили...» . . . . .        | 99 |



**Владимир Николаевич Леонович**  
**Деревянная грамота**

На обложке: *Юрий Бекешев, «Клеонович»*  
Рисунки: *Алла Калмыкова*  
Макет: *Евгений Тихонов*  
Компьютерный набор: *Виктория Нерсесян*

Подписано в печать 29.07.2014. Формат 84x108 1/32.  
Гарнитура Times. Печ. л. 3,25.  
Тираж 1000. Заказ № 4666.

Отпечатано в цифровой типографии ООО «Буки Веди»  
на оборудовании Konica Minolta  
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1 А  
Тел.: (495) 926-63-96, [www.bukivedi.com](http://www.bukivedi.com), [info@bukivedi.com](mailto:info@bukivedi.com)

В лесном краю среди деревьев — ты как в школе, и чем внимательнее смотришь, тем яснее видишь, что и дерево смотрит на тебя. Это называется обратной связью, этот урок прерывать нельзя.

...Все они цветут: ива — черёмуха — рябина — липа и тополь, цветут хвойные, дуб цветёт, осина... Осина, сдержанно цветшая поздней весной, зажигается осенью вместе с клёном. Трепетица — старое её имя.

Всё это очевидно. Не всегда очевидно то участие в судьбе человека, которое проявляют, пожалуй, все породы. Разделённая радость, разделённое с тобой горе. Разговор души с душой. Красивое, тёплое, ранимое, благодарное...

ISBN 978-5-4465-0472-5



9 785446 504725 >